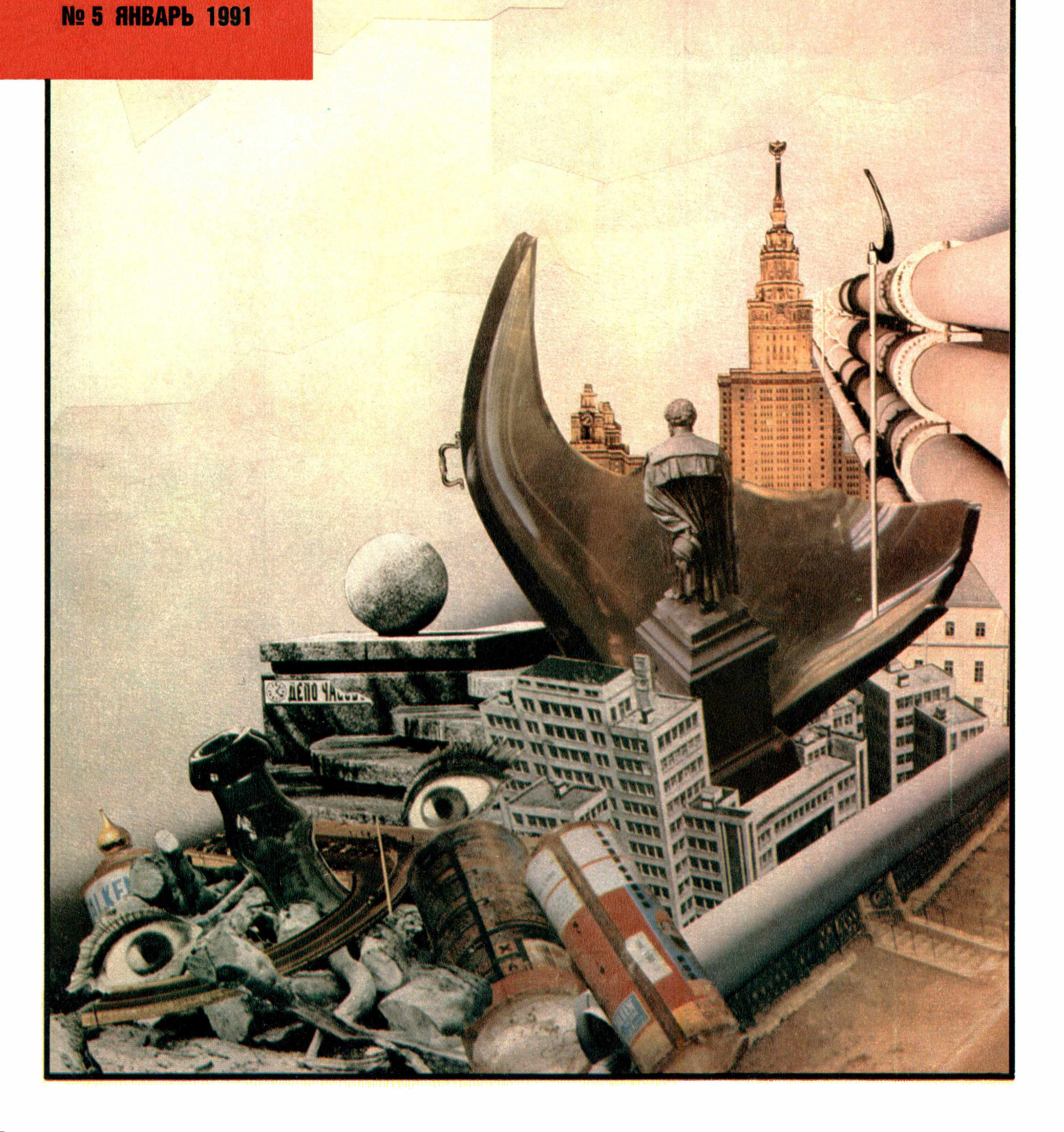
ISSN 0131—0097

ОГОНЁК

№ 5 ЯНВАРЬ 1991

А ЗАТЕМ?..





ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ОГОНЁК

Выходит с 1 апреля 1923 года
УЧРЕДИТЕЛЬ —
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ОГОНЕК»

№ 5 (3315)
26 января—2 февраля

Главный редактор
В. А. КОРОТИЧ

Редакционная коллегия:
А. Ю. БОЛОТИН,
В. Л. ВОЕВОДА,
Л. Н. ГУЩИН
(первый заместитель главного редактора),
Г. В. КОПОСОВ,
В. Д. НИКОЛАЕВ
(заместитель главного редактора),
В. В. ПЕРФИЛЬЕВ
(ответственный секретарь),
Г. В. РОЖНОВ,
В. Б. ЧЕРНОВ,
А. С. ЩЕРБАКОВ
(заместитель главного редактора),
В. Б. ЮМАШЕВ.

Совет редакции:
П. Г. БУНИЧ, Е. А. ЕВТУШЕНКО,
М. А. ЗАХАРОВ, Ю. В. НИКУЛИН,
С. Н. ФЕДОРОВ, Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО.

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

Коллаж Олега Грачева. (См. в номере материал «Коммунальное мышление».)

Оформление А. А. КОВАЛЁВА
при участии О. И. КОЗАК.

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ.
Цена подписки на год — 46 руб. 80 коп.,
на полгода — 23 руб. 40 коп.,
на квартал — 11 руб. 70 коп.
Цена одного номера в розницу — 1 рубль.

Сдано в набор 04.01.91. Подписано к печати 22.01.91. Формат 70×108⅛. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,00. Усл. кр.-отт. 17,50. Уч.-изд. л. 12,05. Тираж 1 825 000 экз. Заказ № 43. Цена 1 рубль.

Адрес редакции: 101456, ГСП,
Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-22-69; Отделы: Публицистики — 250-46-90; Литературы — 212-63-69 и искусства — 212-22-19; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Литературных приложений — 212-22-13, 251-90-55.

Телефакс (095) 943-00-70
Телетайп 112349 «Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Издательство ЦК КПСС «Правда». Типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». Москва, А-137, улица «Правды», 24.

© «Огонек», 1991.

ЗАВТРА БУДЕТ

Анатолий ГОЛОВКОВ,
обозреватель журнала
«Огонек»
Фото
Льва ШЕРСТЕННИКОВА,
Марка ШТЕЙНБОКА

ПОЗДНО



Москва, 20 января.

Рига, 19 января.

Дождались: вопреки конституциям, всем правовым нормам (если не считать Устав гарнизонной и караульной службы) катится волна беззакония, насилия при полном попустительстве центра. Что там демократически выбранные парламенты республик, когда нынче каждый домком может объявить себя «комитетом национального спасения» и призвать на помощь ОМОН или регулярные войска! И те «спасают» вполне профессионально, как учили — прикладами автоматов, кованым ботинком, гусеницами танков и пулями, пулями... Возвращение огромной страны в тоталитарное русло, о котором так долго пеклись большевики, совершается на наших глазах.

Неужто пора и нам, журналистам, вспомнить уже подзабытое ремесло, почти изжитый комплекс работать так, чтобы не вымарали текст, не искромсали магнитную ленту, не перемонтировали телесюжет? Выглядываю за окно — нет, вроде еще рановато. Ложусь спать — начинают сниться дурные сны...

Будто страна в виде самолета, с которым сравнивал ее Юрий Бондарев, светоч соцреализма и делегат XIX партконференции, наконец-то приземляется. Что будто бы внизу вместо посадочных огней горят костры. И вот уже окружают самолет свои в доску ребята в пятнистых комбинезонах, с короткоствольными автоматами наперевес, подгоняют трап, торопливо подталки-

вают дулом в спины: «Добро пожаловать в государство твердого порядка и коммунистической перспективы!»

И крепенький парниша из Ленинграда в революционной кожанке времен перестройки и гласности и солдатской каске с цифрой «600» сурово распоряжается: «Выходи по одному!»

Как-то приходилось уже писать: когда в человеке умолкает совесть, наступает бред сомнения. Вот и платим сегодня по счетам за то время, когда колебались: правы или не правы те, кто год назад приказал штурмом взять Баку. Молчали, пока сидела на голодном пайке Армения, отрезанная блокадой... Пока военные творили произвол в Нагорном Карабахе, а теперь наблюдают насильственную депортацию армян из арцахских сел... Далекими кажутся иным из нас выстрелы в Южной Осетии, в Риге...

Звуки заупокойной мессы долго еще не растворятся в вильнюсском небе и привкус пороха не растает на губах. Прости нас, Литва! Твою свободу не только расстреляли в упор, но еще и оболгали, пытаясь вымарать движение за независимость дегтем национализма. Латвия и Эстония! Мы и до митинга 20 января на Манежной площади в Москве знали, что на рижских баррикадах рядом с латышами дежурят те, чей родной язык — русский. Что мнение русских демократов Таллинна, мягко говоря, несколько отличается от хищного неприятия эстонского народовластия, которое взял на себя депутат Коган. Разжигание межнациональной вражды — излюбленный прием партийно-бюрократической номенклатуры, которая не желает расставаться с властью.

Вильнюсская трагедия непоправима. Она — следствие многих роковых ошибок. Ответственность за нее должны разделить не только ЦК КПСС, теневые лидеры и не только командующий Вильнюсским гарнизоном, превративший десантников в палачей. Безусловная вина лежит и на правительстве Литвы, на парламенте, принявшем антидемократические законодательные акты в отношении русскоязычного населения. Но если ошибки литовских властей можно было еще поправить до 13 января, то Министерство обороны, партийная камарилья республики умело разыграли «литовскую карту».

Глупо делать сегодня вид, будто нам преподнесли очередной сюрприз. Вот, дескать, занервничали да передернули затворы. Иногда, мол, случается такое: когда давили танками восставших женщин-политзаключенных, когда открыли огонь по рабочим в Новочеркасске и расправлялись с мирными жителями в Тбилиси, в Баку... Можно вспомнить и экспорт насилия в Венгрию, Чехословакию... Ну, ошибались, с кем не бывает. А вообще вполне миролюбивые ребята! Они же хотят добра, чтоб вся планета оказалась в «светлом царстве коммунизма»!

Дурные манеры заразительны: не только большевики, но и либералы наши, и радикалы никак не могут избавиться от привычки сугубо по-коммунистически не замечать реалии жизни и выдавать желаемое за действительное.

Еще на первых заседаниях «Московской трибуны», а затем — межрегиональной депутатской группы трезвые и умные головы, в частности Андрей Дмитриевич Сахаров, предупреждали: эйфория свободы опасна. Рынок и ленинский социализм — понятия несовместные. Еще на волне пика популярности М. С. Горбачева предостерегали: генсек физически не сумеет поступать иначе, ведь так рискованно испытывать терпение тех, в чьих руках сосредоточена реальная власть,— партаппарата, генералитета, военно-промышленного комплекса, КГБ.

Неужели и сегодня все еще не понятно, что даже половинчатым реформам наступает конец? Что кабинет и нового премьер-министра Павлова вполне может попытаться вернуть экономику к командно-административным методам, удушив все ростки рынка? Что ортодоксы и догматики от марксизма-ленинизма уже вряд ли простят Горбачеву начавшийся развал КПСС и революцию в Восточной Европе, а демократы — нерешительность, колебания на пути к рынку? Тем временем страна все еще топчется на перекрестке двух дорог: одна зовет назад, к военно-партийной диктатуре с правом на подавление любого свободомыслия, любых неугодных аппарату перемен, другая — к свободному демократическому государству с многопартийной политической системой, деполитизированными органами правопорядка и армией, с частной собственностью на средства производства и рыночными товарно-денежными отношениями. Другого не дано.

Определенным кругам в стране будто бы выгодно, чтобы подольше тянулась борьба за власть, которую никак не могут поделить между собой центр и республики. Перетягивание каната утомило игроков и дошло до абсурда. Вакуум власти породил водевиль с суверенитетами областей и даже районов, затем — паралич сфер управления и взаимную безответственность. Аб-

Рига, 19 января.





Рига. Оплакиваем погибших.

сурд иррационален. В нем бесполезно разбираться при помощи формальной логики. Поистине, нас и нынче умом не понять, аршином общим не измерить. Какой же степенью политической глухоты нужно обладать, чтоб не услышать парламент России, который не только нашел «аршин», но и успешно применяет его во взаимоотношениях с другими республиками? Но такой подход безмерно раздражает новую команду Президента, потому что исключает привычное имперское принуждение и заключается в добровольном, логическом и равном соединении республик или народов (Союз наций?) в государство с авторитетным, мудрым, координирующим центром.

Именно на такой основе и началась после трагедии в Литве новая волна консолидации демократических партий и движений России. Но ведь опомнились наши свободолюбы лишь тогда, когда начался очевидный откат от всех демократических завоеваний с публичным застегиванием мундира на все крючки и пуговицы. Давайте, вешайте ярлыки на Б. Н. Ельцина! Ругайте, критикуйте теперь сколько угодно Президента, которому вы вручили все мыслимые и немыслимые полномочия! Проливайте запоздалую слезу по поводу того, что умному и честному Бакатину предпочли партаппаратчика Пуго, а вице-президентом «от большевиков» избрали Янаева!.. Что ушел в отставку, оказавшись в безвыходном положении, Шеварднадзе... Что безуспешному лидеру экономики Рыжкову вручили пенсионные привилегии, а с Шаталиным, Петраковым, Яковлевым простились безо всякого спасибо и сожаления...

P. S. Эта статья уже готовилась в набор, когда пришло очередное горестное известие из Риги. Группа омоновцев поздно вечером 20 января предприняла штурм здания Министерства внутренних дел Латвии. Несколько человек убиты, в том числе режиссер-кинооператор Рижской киностудии Андрис Слапиньш, многие ранены. Среди пострадавших и латыши, и русские...

Многое мы уже пережили в своем Отечестве — и разор, и позор. Все-то мы уже видели — и подлое предательство одних, и твердое величие духа других. И хотя лишь пригубили пьянящий напиток свободы, похмелье может оказаться тяжким. Позади кровавые генеральные репетиции, прогоны в Вильнюсе и Риге. Неужели допустим премьеру?

ЗАПРЕТ НА ФАКТ

«Сегодня речь идет о запрете на информацию!» — так считает команда популярной передачи Центрального телевидения ТСН — телевизионной службы новостей. С ведущими ТСН Юрием РОСТОВЫМ, Татьяной МИТКОВОЙ, Дмитрием КИСЕЛЕВЫМ, Сергеем ДОРЕНКО беседует корреспондент «Огонька» Майра САЛЫКОВА.

— Что происходит с ТСН? Передача меняется на глазах. Зритель видит и чувствует, что ведущие попали в двусмысленное положение. В печати появились сообщения, что на вас оказывается мощное давление... Как это происходит?

Ю. Ростов: Главный редактор программы может вызвать ведущего начальника ТСН и передать свое распоряжение: прочитать ТАСС без комментариев, снять с передачи какой-либо материал и т. д. Например, я в начале января сказал в эфир, что «Взгляд» 4 января не выйдет. И меня тут же отстранили от эфира.

— Значит ли это, что главный запретитель — это главный редактор программы Ольвар Какучая?

Ю. Ростов: Нет, конечно. Он выполняет лишь функцию передаточного звена. Все дело в руководстве Гостелерадио.

— Вы выходите и выходили в прямой эфир. Какая разница в контроле между тем, что было вчера и сегодня?

Д. Киселев: Да, мы выходим в прямой эфир. Но существует и существовала договоренность, профессиональная дисциплина, наконец. И никто, хотя есть такое распоряжение, наши материалы не визировал. Их у нас в ТСН никто предварительно перед выпуском не просматривал. А сейчас вот уже несколько недель приходят заместитель главного редактора, главный редактор и даже первый зам. Гостелерадио Решетов и осуществляют цензуру. Снимают материалы, сокращают что-то, выкидывают или даже, как это было недавно, запрещают выпуск вовсе.

— Насколько я знаю, буквально на днях ситуация еще более обострилась?

Д. Киселев: Сейчас в наш штат ввели специальных цензоров. Они следят за тем, что пройдет в ТСН. Правда, называются они не цензорами, а главными сменными выпускающими. Но это неправда. Они не готовят выпуск. Их дело — только укорачивать то, что мы предлагаем.

— Когда вы почувствовали к себе особое внимание руководства?

Т. Миткова: Пожалуй, со времени событий в Молдавии. Беспокойство руководства вызывает информация о политических событиях в стране. По мере их нарастания нарастало и давление на ТСН. Если вы помните, то наши выпуски рождались как какие-то забавные, несерьезные новости, криминальная хроника и т. д. Но мы обрастали своей корреспондентской сетью, новости становились все серьезнее и серьезнее. А благодаря ведущим программа приобретала все большую популярность.

— А «внимание» к вам стало особенно заметно в последнее время, когда начались события в Литве и вообще в Прибалтике?

Д. Киселев: Конечно, все сроки условны, но отсчет можно вести с 13 января. Именно в этот день, в воскресенье, Решетовым был написан комментарий к событиям в Литве со своими объяснениями того, что предшествовало вводу войск. Это произошло за полчаса до эфира. Решетов сказал, что Пуго не удалось в программе «Время» объяснить, почему же все-таки Комитет национального спасения обратился к войскам. Он сел за стол нашего главного редактора и стал писать свою версию объяснения. Команда ТСН присутствовала в расширенном составе. Он заявил, что через полчаса Таня Миткова будет читать этот текст в эфир. Мы поинтересовались, кому принадлежит этот текст, ведь мы информационная программа и должны ссылаться на источники. Решетов ответил: ТАСС. Но было ясно, что это не ТАСС. У нас есть телетайпы, и этот материал по каналам ТАСС не распространялся. Все кончилось тем, что этот текст в рукописном варианте в эфире читала диктор Коваленко.

— И ведущему не было дано возможности дать свой комментарий к событиям....

Д. Киселев: Да поймите, речь даже не идет там о каких-то комментариях! Сегодня речь идет о запрете на информацию! Это принципиальный момент. У нас информационная программа. Мы избегаем комментариев чьих-либо и своих собственных. Мы стараемся дать как можно больше разнообразной информации, отображающей разные точки зрения. Мы готовы давать только факты. Вот, например, программа 16 января, которая была снята руководством. Произошло это именно из-за запрета на факт! О первом погибшем человеке в Риге, который был застрелен «черным беретом». У нас были кадры, изображение, вплоть до пуль в черепе на рентгеновском снимке, полученном из больницы. Все информационные агентства мира сообщили об этом факте. А нам было запрещено. И из-за этого был снят весь выпуск... Речь идет о запрете на факт. Можно говорить о том, что в эти дни на ЦТ была полностью похоронена гласность.

— Снимались ли с эфира в последнее время выпуски ТСН?

Т. Миткова: 17 января в половине десятого, когда была уже готова верстка ночного выпуска, нам было заявлено, что сегодня вы новости не делаете, вы делаете специальный выпуск по событиям в районе Персидского залива. Заведующий отделом пошел к главному редактору и сказал ему, что если никаких новостей не будет, то Татьяне Митковой незачем выходить в эфир. Пусть напишут текст для диктора и он его прочтет. На что последовала такая реакция: «Если Миткова отказывается работать, то мы примем меры».

— Давление на ТСН нарастает. Что будет дальше?

Д. Киселев: 17 января мы двумя сменами из трех (две трети ТСН) пошли к главному редактору и сделали следующее официальное заявление (это было наутро после того, как сняли материал об убитом в Риге): мы понимаем, что в Центральном телевидении и в Главной редакции информации вводятся новые правила игры и что мы начинаем работать в новых условиях политической цензуры, которой раньше не было.

Хотя эта цензура запрещена Законом. Мы не хлопаем дверью, мы продолжаем работать. И оставляем за собой право заявить через прессу нашим телезрителям, что отныне не сможем использовать всю информацию, которая у нас имеется и которую нам поставляют наши корреспонденты. Поэтому наши выпуски не будут достаточно полными. Параллельно с этим мы будем искать и уже ищем возможность нового эфира. Более свободного, будь то Российский канал или коммерческие варианты. Мы продолжаем работать, несмотря на цензуру, для того, чтобы сохранить команду и свою корреспондентскую сеть до новых возможностей нормальной работы.

— Что бы вы хотели сказать читателям «Огонька»?

— Мы боремся. И мы не знаем, в каком виде выйдет очередной выпуск ТСН в эфир: с объективной информацией или информацией, написанной рукой Решетова. У нас связаны руки. Совет такой же, как во времена застоя: посмотрев телевидение, послушайте «голоса». ТСН сегодня не может предоставить вам обширную информацию. Пусть зрители сами ищут свои источники информации. Мы надеемся на лучшее. Ведь надежда умирает последней.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Империя бьет в ответ. Напрягаясь в сражении с собственным народом, вчерашние хозяева жизни не хотят уходить со сцены. Они вырываются на парламентские трибуны или подсаживают туда своих людей, зовущих к насилию и диктату. Они благословляют создание незаконной хунты в Литве, и армия тут же начинает выполнять распоряжения этой хунты. Мастера беззакония привычно сбиваются в стаю. Они подавляют проявления свободы и стремятся умертвить гласность, как одно из них.

Убитые в Вильнюсе не могут больше кричать, но все делается, чтобы не слышны были и живые, не приемлющие диктатуры.

«Огонек» не поступает к читателям. И это не исключение; очень многие издания под самыми разными предлогами отрезаются от подписчиков и покупателей. В стране есть регионы, где давно уже не читали многих центральных газет и журналов — блокада исчисляется месяцами. Все это, бесспорно, организовано, как и другие акции по пресечению гласности. Новым руководством Гостелерадио последовательно ухудшается ряд популярных программ, вместо которых навязывается угрюмая официозность «Времени» или верноподданнические невзоровские истерики. Все громче провозглашаются с самых высоких трибун требования о возвращении к цензуре и запрещении целого ряда изданий и радиостанций.

Страшно? Нет. Горько оттого, что ужас, обуявший разрушителей жизни, тех, кто довел народ до нынешнего состояния, проявляется в формах все более беззаконных: от подавления правдивой информации до расстрела, убийства. Паникуют вчерашние хозяева жизни, не желающие эту жизнь переустраивать, боящиеся ответить за все, что они в ней натворили. Какой бы густой ни была ложь, но разрушительное действие этой лжи сегодня особенно безнравственно. Ведь, сметая все на своем пути, в ход пошли пули и танки, а мастера симуляций готовы оправдать все преступления Системы.

Трудно. Мне очень хочется, чтобы здравый смысл, наработанный нами за последние пять лет, возобладал. По крайней мере в нас с вами, изменяющих жизнь и не страшащихся изменений.

...Но «Огонек» по-прежнему не поступает ко многим читателям вне Москвы, да и в Москве доставляется кое-как. Нас, и не только нас, пугают новыми ценами, которые должны будут еще больше отрезать демократических читателей от демократической прессы. Реакция наступает по многим фронтам, и единственно, чем мы способны ответить на ее атаки,— работой принципиальной и бесстрашной. Кроме того, мы начинаем расследование саботажа (иначе трудно назвать недоставку нашего журнала многим читателям в течение последних месяцев).

Демократический процесс непрост, а те, кто хочет остановить его, готовы на все.

Они не пройдут.

Виталий КОРОТИЧ



ПРИНЦИП ЛЕ ШАТЕЛЬЕ — БРАУНА, ИЛИ ПОЧЕМУ БУКСУЕТ ПЕРЕСТРОЙКА ● «ПРОСТИ НАС, ИСАИЧ!» ● НЕТ НА НИХ СТАЛИНА! ●

■

Кризис власти в СССР ощущается на всех уровнях вплоть до самого наглядного — пустых полок в магазинах при рекордном урожае. Президент постоянно требует новых полномочий и без особых проблем эти полномочия получает. И все равно власти катастрофически не хватает.

Единственное объяснение этого парадокса состоит в том, что власть употребляется неправильно, т. е. направлена на решение не достижимых данным способом целей. Тут уместно напомнить принцип Ле Шателье — Брауна. Он гласит: «Сложная система, подвергнутая внешнему воздействию, стремится перестроиться таким образом, чтобы максимально уменьшить результат воздействия».

Официальной целью перестройки провозглашен демонтаж административно-командной системы. Но дело в том, что Горбачев именно эту систему пытается заставить провести экономическую реформу.

В нашей истории было немало попыток модернизации механизма управления у Хрущева, у Косыгина, даже у Брежнева. И пять лет перестройки — непрерывная попытка заставить «систему» работать на людей. Результат плачевный.

Все президентские Указы истинным властям предержащим нипочем. Что им подходит — выполняют, что не подходит — игнорируют. А чтобы все знали, кто есть кто, периодически организуются залпы всяческих дефицитов.

Предоставление безграничной власти Президенту и одновременное саботирование его решений непременно приведут к падению Президента.

Остается ли какой-либо выход у нашей страны? Думаю, да. Административно-командную систему нельзя использовать. Ее можно демонтировать, опираясь на поддержку народа и на те вновь возникающие структуры власти, которые она еще не успела подмять. Метод этот известен — приватизация собственности. Только делать это надо не после стабилизации и введения рынка, а параллельно с этими процессами.

В противном случае административно-командная система подождет, пока народ вконец изголодается, пока Президент окончательно рассорится с левыми и перестройка лишится социальной базы, а затем спокойно пережует и выплюнет и перестройку, и Президента.

Б. ДУМЕШ,
кандидат физико-математических наук
Москва

■

Завидуем огоньковцам: они стали хозяевами своего журнала. А вот наша «Вечерняя Казань» до сих пор не может обрести независимость.

На этот раз дело не в «кознях аппарата». Одна часть коллектива убеждена, что самостоятельность газеты надежнее всего будет обеспечена в том случае, если учредителем станет сам творческий коллектив. Другая, во главе с редактором «Вечерки» народным депутатом СССР А. П. Гавриловым, считает, что газета будет свободнее, если соучредителями выступят, помимо журналистов газеты, кооператив «Пассаж» и издательство Татарского рескома КПСС.

Трудно вообразить гарантом независимости демократической газеты издательство рескома КПСС. Но еще труднее представить в такой роли кооператив, имеющий свои специфические интересы, весьма далекие от политики.

В том, что наше беспокойство обосновано, убеждает не оконченная еще история регистрации газеты. Сначала «Вечерняя Казань» была зарегистрирована 22 августа 1990 года тремя вышеназванными соучредителями в Министерстве печати и массовой информации РСФСР. Но соучредительский договор держался в тайне от нас. Коммерческие и иные его условия были нам неизвестны. Выяснилось, что кооператив «Пассаж» запатентовал марку газеты, то есть ее товарный знак. К тому же оказалось, что сама регистрация была незаконной и свидетельство о ней аннулировано.

16 ноября газета была зарегистрирована во второй раз единственным учредителем — Объединением творческих сотрудников.

Но в конце декабря Министерство печати и массовой информации РСФСР выдало нашему редактору А. П. Гаврилову еще одно, третье по счету, свидетельство о регистрации «Вечерней Казани». Оно, по сути, восстанавливает первое, подтверждающее права на газету кооператива и партийного издательства. При этом регистрацию от 16 ноября министерство не отменяло. Получается, что сейчас имеется 2 свидетельства о регистрации газеты, что противоречит Закону о печати.

Наш редактор нашел простой выход: он уволил с нового года всех сотрудников и объявил в приказе, что вновь будут приняты только те журналисты, которые признают третью регистрацию.

От всей этой истории возникает ощущение, что нас возвращают в прежние времена...

А. МИЛЛЕР,
председатель Объединения творческих сотрудников редакции газеты «Вечерняя Казань»,
и другие (всего 11 подписей)

■

Впервые фамилия Солженицын была услышана мной в 1974 году. Я учился в восьмом классе и сначала подумал, что это новое ругательство — столько злобы и гневного смысла несло в себе это слово. Все газеты и журналы шельмовали и предавали анафеме писателя. Это врезалось в память еще и потому, что у учеников нашей школы появилось необычное развлечение — на переменках мы не шли докуривать окурки, а бежали «мучить Солженицына». Дело в том, что на два года младше нас учился мальчик по фамилии Солженикин. «Солженицын, ты Родину предал!» — кричали мы ему. Педагоги, проходившие мимо, если и не поощряли нас, то и не останавливали. Ведь нам на уроках вдалбливали, что Солженицын «облил грязью» СССР, «таким у нас не место» и т. д.

Прошло много лет, и вспоминать об этом стыдно. (Исаич, прости нас, неразумных, и ты, далекий мальчик Солженикин, прости: не ведали мы, что творили.)

Но сомнения даже в том нежном возрасте уже были. На ночь давали замусоленную самиздатскую книжку, после чтения которой сон уже не шел.

И вот наконец перед нами посильные соображения «Как нам обустроить Россию». В пункте «Неотложные меры Российского Союза» читаем: «... ничего дельного мы не достигнем, пока коммунистическая ленинская партия не просто уступит пункт конституции — но полностью устранится от всякого влияния, ...полностью уйдет от управления нами, даже какой-то отраслью нашей жизни...»

Ю. Черниченко в «Литгазете» в статье «Спасибо за «мы» радуется тому, что Исаич обращается к читателям «мы». Но ко всем ли? Все ли одинаково прочитали слова Солженицына о «десятках тысяч образованцев... огрязненных лицемерием, переметчивостью...»?

Уверенные в течение 73 лет в своей безнаказанности, думали ли некоторые представители правящей партии о том, что придет время, когда с них за все спросят? Думали?.. Похоже, время такое приходит.

М. ГРИШИН
Петродворец

■

Само название репортажа А. Невзорова из Литвы 15 января «Наши» восходит к военно-патриотическим играм нашего замороченного детства. Если десантники и омоновцы — наши, то те, другие, литовцы,— враги! Александр рассказывает о том, что какие-то темные силы составляют ужасные списки коммунистов и русскоязычных, подлежащих истреблению. Однако в репортаже не было ни одного вооруженного литовца, ни агрессивных боевиков «Саюдиса». За заборами отчаянно «обороняемых» объектов стояли женщины и дети. Куда красноречивей были кадры с сотнями советских паспортов, нанизанных на ограду захваченной десантниками телебашни. Паспорта людей, которым не хочется гражданства в стране, где парламентские разногласия разрешаются танковыми гусеницами и автоматными очередями.

Прежде чем задыхаться от «патриотического» пафоса и умиления нелепым героизмом «смертников», корреспондент должен был бы задаться вопросом: чьи интересы брошены защищать эти парни? Если интересы русскоязычного населения, то почему же они держат «осаду» в пустой башне? Ответив на этот вопрос, Невзорову пришлось бы весь свой гнев направить отнюдь не против отстаивающего свою независимость литовского народа.

А. Сахарову не надо было ехать в Афганистан, чтобы на весь мир заявить о том, что правительство Союза совершило акт агрессии против этой суверенной страны. Беда военного человека во многом определяется тем, что приказом его могут вынудить выполнять противоправные поступки. Что же касается журналиста, то он должен, оценивая ситуацию, смотреть чуть дальше, чем в прицел десантного автомата, которым ему дали поиграть перед объективом. Любовь к России и великодержавность — вещи разные, и создается впечатление, что Невзоров путает одно с другим.

Т. КУРАКИН,
старший научный сотрудник.
Москва

■

Не нравится мне то, что «Огонек» считает себя судьей в последней инстанции и признает только один «уклон» — радикальный.

Стало модным возрождать поповщину. Попы в школах, в воинских частях, в правительстве и даже в шоу на телевидении. И все это под маркой возрождения культуры народа и духовности. А я это считаю призывом к мракобесию. Разве в религии заложены принципы добра, мира, милосердия? Это же общечеловеческие принципы.

Церковь всегда стояла на страже своих собственных интересов. Сколько преступлений совершено именем Бога: преследование христиан, инквизиция, религиозные войны. Сурово обошлись в России после революции с духовенством. И это правильно. Церковь всегда рвалась к власти. Вот и сейчас появились на политической арене попы. Нет на них Сталина!

Э. ТАРАСОВ
Хабаровск

■

В нашей стране люди до сих пор ищут без вести пропавших во время войны. Неугасима и бесценна человеческая надежда. Она не признает ни государственных границ, ни национальностей, ни времени.

Мои друзья — японские граждане Синдзо Ирияма и Ацуко Ирияма все послевоенные годы ищут советского офицера Макеева и его жену Марусю. Эти люди проявили высокую человечность в отношении к японскому военнопленному и его возлюбленной.

В мае 1946 года группу японских военнопленных перевозили поездом из Маньчжурии в Пхеньян. По пути состав сделал длительную остановку в городе Хамхыне. Часть пленных должна была остаться в Хамхыне, остальным предстояло следовать в Пхеньян. В числе оставшихся была девушка по имени Ацуко Ониси, а ее возлюбленного по имени Ирияма отправляли в Пхеньян. Ацуко и Ирияма хотели быть вместе и нашли неожиданную поддержку со стороны старшего лейтенанта Макеева и его жены Маруси. По ходатайству лейтенанта было решено отправить Ирияма и Ацуко в Пхеньян. Чуткое отношение русских людей спасло любовь двух молодых японцев.

Супруги Ирияма помнят, что Макеевы были уроженцами Украины. У них был сын. Они ищут Макеевых с единственной целью — выразить сердечную благодарность за свое счастье. Макеев-сан, Маруся-сан, откликнитесь!

А. СЭЙТА
Москва

Журналистский коллектив и редакционная коллегия «Огонька» признали лучшим из материалов на экономические темы, опубликованных в четвертом квартале, статью Ларисы Пияшевой «Умом понять Россию» (№ 44,1990). Ей и присуждена премия (600 рублей и ценный приз), учрежденная норильским центром научно-технического творчества молодежи «Резонанс».

«БОЮСЬ СГЛАЗИТЬ...»

С женой члена Верховного Совета СССР, председателя Ленсовета Анатолия Собчака Людмилой НАРУСОВОЙ беседует наш корреспондент Анастасия НИТОЧКИНА

Появление в моем гостиничном номере Людмилы Борисовны не сопровождалось никакими эффектами. Никаких помощников, референтов, охранников, которые мне воображались. Открылась дверь, зашла невысокая, светловолосая, элегантно одетая женщина. Первая леди города. «Здравствуйте». Объяснила, раздеваясь, что времени катастрофически не хватает — в Ленинград приехал президент Республики Корея Ро Дэ У с супругой — надо быть на приемах...

— Никак не могу привыкнуть, что кто-то может так жить всегда. Я обычный советский педагог. Живу соответственно...

— Это как?

— Скромно. Занимаюсь историей, преподаю в Институте культуры имени Крупской. Кандидатскую защитила по декабристам.

— Женой декабриста себя не ощущаете?

— Такого поворота не исключаю. Говорю совершенно серьезно.

— Страшно?

— Думаю, что всем страшно не только из-за нападений хулиганов, а скорее от сознания беззащитности — ведь правоохранительные органы более активны на митингах и демонстрациях, чем в подворотнях и темных подъездах. Что касается нас, то надоели постоянные угрозы.

— А что за угрозы?

— Самые разные. Но цель одна — воздействовать на мужа. В последнее время постоянно грозят и мне, и дочери.

— Насколько это серьезно?

— Не знаю. Принимаю меры предосторожности.

— Когда мы с вами договаривались о встрече, вы сказали, что еще не успели посмотреть свое расписание. У вас каждый день так расписан?

— Расписание, о котором я вам говорила, появляется, лишь когда приезжают высокие гости и по протоколу я обязана выполнять функцию жены председателя Ленсовета.

— Что такое протокол?

— Обязательные, принятые во всем мире правила проведения официальных встреч. Там написано, когда необходимо присутствовать с женой (официально — с супругой), когда можно без супруги. Это кодекс скорее внешних атрибутов.

— Не страшно было в первый раз выйти на протокольную встречу? Все же мы очень скованные и зажатые.

— Воспитание, полученное в семье, и образование помогли чувствовать себя достаточно уверенно: я знала, как держать себя, о чем говорить. Но первый раз, конечно, особенный: мне не было страшно или неловко, скорее непривычно. И дело не в том, что нужно помнить, кто первым должен ступать на ковер. Непривычным оказался диссонанс между протокольной и обыденной жизнью. Что и говорить, приятно ездить по городу в блестящих «мерседесах», в сопровождении кортежа мотоциклистов. У многих это вызывает справедливое раздражение: перекрывают движение, а люди торопятся на работу и из-за неведомых заморских гостей опаздывают. Я сама сколько раз возмущалась. Но теперь понимаю, что нужно считаться с элементарными правилами международной жизни... Но вот кончаются визиты, кортежи, шикарные «мерседесы», и я иду в наши убогие магазины, стою в очередях, сажусь в переполненные вагоны метро и еду к себе.

Или завтраки в честь высоких гостей. Я все понимаю про наше гостеприимство и радушие. Президенты и мэры привыкли к определенным условиям жизни и не должны страдать в гостях. Но, поедая на завтраках вкусные и экзотические продукты, ломаю себе голову: что приготовить мужу на ужин и с чем завтра сделать бутерброд дочке в школу? Ни сыра, ни колбасы в доме нет...

Так что моя жизнь делится на декоративную, к которой трудно привыкнуть, и реальную, которой я живу постоянно.

— Почему, на ваш взгляд, жены политических лидеров в нашей стране до сих пор остаются в тени?

— В нас сильны пережитки сталинизма. Ведь это именно Сталин ввел правило, по которому жены не присутствовали ни на официальных приемах, ни в поездках. Они не появлялись даже на обычных праздниках. Где-то читала, как Сталин встречал Новый год с Ворошиловым, Молотовым и другими членами Политбюро, жены даже не приглашались. До какой же степени нечеловеческой морали нужно дойти, чтобы чисто домашний, семейный праздник отмечать в узкопартийном кругу?

— Казалось бы, появление Раисы Максимовны должно было изменить ситуацию...

— ...Я помню, как зарубежные газеты восторженно писали, что она первая жена советского руководителя, которая по своим объемам гораздо меньше мужа...

— Однако не секрет, что отношение к ней у нас в стране неоднозначно.

— Лично мне кажется, что она ведет себя совершенно нормально.

Мы пыжимся, выдаем себя за европейцев, сохраняя при этом чисто азиатское отношение к женщине. Несмотря на декларации о равноправии, у нас до сих пор считается, что политика — дело мужское, а женщина должна ходить в чадре. Мужчины действительно делают политику, но ведь в конце концов что бы они ни делали — они делают это для своих женщин, жен, для своих детей, наконец.

Обычная житейская ситуация: жена сопровождает мужа в поездке. Во всем мире это норма. Когда я была с мужем в Лос-Анджелесе на подписании соглашения о городах-побратимах, меня поразило, что мэр, представляя свою жену, совершенно спокойно сказал: «Знакомьтесь. Она работает в моем офисе, помогает вести дела». Ни у кого — ни у членов муниципального совета, ни у жителей города — это не вызывает никаких отрицательных эмоций...

— Муж разделяет вашу точку зрения на роль женщины?

— Я не претендую ни на какую роль. И почему вы упорно называете ролью естественное желание женщины помогать своему мужу, быть рядом с ним в любой ситуации? Когда Елена Георгиевна Боннэр всюду сопровождала Андрея Дмитриевича Сахарова, это ни у кого не вызывало вопросов: она боялась отпускать его одного, хотела быть рядом. Честь ей и хвала — она достой-

Фото Льва ШЕРСТЕННИКОВА



нейшая жена. Почему же в других случаях это вызывает отчаянное сопротивление и раздражение?

— Мы же привыкли, что общественное выше личного. Политические лидеры часто воспринимаются бездушными колесиками и винтиками какой-то машины...

— Недавно в течение целого дня я сопровождала бывшего президента Америки по Ленинграду и пригородам. Нэнси Рейган поразила и очаровала меня абсолютной искренностью и естественностью. Ни она, ни ее муж не стесняются показывать трогательного отношения друг к другу. Интимные пожатия рук, нежные объятия, взгляды, полные взаимной симпатии,— и все это не украдкой, а открыто. Они не боятся, что кто-то что-то скажет или подумает.

— Американский культ семьи поражает и меня. Ведь даже на вручении премии «Оскар» в первую очередь благодарят жену, мужа, родителей, детей...

— Это естественно. Абсурдно, что у нас говорят: «Спасибо родной партии». Или: «Отдам жизнь за блага народа». Жизнь отдают за блага конкретных людей, потому что народ состоит из бабушки, тети, сына, дочки, жены и мужа...

— Вы приезжаете с Анатолием Александровичем в Москву на сессии и съезды?

— Конечно. Я стараюсь хоть ненадолго, но вырваться к нему, чтобы помочь в быту. Прачечными он не пользуется. Как любой мужчина, может оказаться беспомощным. Я считаю, что человек всегда должен выглядеть достойно: пусть голодный, но в чистой рубашке. Даже если человеку очень плохо, его внешний вид должен говорить, что у него все прекрасно. Меня научила этому соседка в коммунальной квартире. В годы блокады она меняла хлебные карточки на мыло, чтобы мыться, стирать одежду, выглядеть чисто и аккуратно.

— А на первый Съезд вы приезжали?

— Нет. Я приехала в начале лета, в свой отпуск. Был самый пик популярности Собчака, его уже узнавали на улицах. Произошел забавный эпизод. Я приехала на поезде рано утром, добралась до гостиницы «Москва» и попыталась пройти. Меня не пустили. У меня другая фамилия, и мне было трудно объяснить, кто я такая. Наконец какой-то человек, распоряжающийся у дверей, спросил меня, к кому я иду. Я ответила, что к Собчаку. Он сказал: «Будете 84-й». Я даже не сразу поняла, о чем речь. Он пояснил: «Здесь очередь к Собчаку, записано 83 человека. Вот вам жетончик, будете 84-й». Я пыталась объяснить, что иду по личному делу. Он безразлично отпарировал, что все по личному делу. Когда муж пришел, я с трудом к нему прорвалась, чтобы все-таки не быть восемьдесят четвертой.

— Что вы испытывали, наблюдая в то лето по телевизору дебаты первого Съезда?

— Толя выступил в первый же день Съезда и поддержал кандидатуру Оболенского. Он заявил, что и беспартийные должны претендовать на высшие посты государственной власти. Первое чувство, которое я испытала,— чудовищный страх. Ведь для всех это был просто один из депутатов, а для меня — родной человек. Я была в отчаянии: «Господи! Ведь посадят, снимут с трибуны, больше никогда не увижу...»

— Вы не уговаривали мужа все бросить и вернуться к нормальной, спокойной жизни?

— Я помню, как освистывали и зашикивали Андрея Дмитриевича Сахарова. Особое усердие проявляли «афганцы», защищая которых, он заработал ссылку в Горький. Я тогда очень много думала о человеческой неблагодарности. И сказала мужу: «Вот видишь. Если уж освистывают Сахарова, то тебя уж точно затопчут и закидают камнями». Он ответил: «Да, я знаю. Я к этому готов...»

А помните эпизод третьего Съезда, когда мой муж иронично назвал Воротникова и Власова адыгейцем и якутом? На Собчака набросились представители этих делегаций, стали обвинять его в шовинизме, даже не потрудившись разобраться в смысле сказанного... Я снова подумала о неблагодарности. Но страха уже не было. А вечером мы получили более тысячи телеграмм из глухих адыгейских аулов, из далеких якутских поселков: «Спасибо, что поддержали нас. Мы все поняли правильно. Не обращайте внимания на выступления наших партийных боссов». Некоторые телеграммы были написаны неграмотно, с ошибками, не очень складно, но искренне, от души. Я устыдилась тогда своих мыслей о человеческой неблагодарности. Это был самый трогательный момент в нашей политической жизни.

— Когда мы разговаривали по телефону, вы обмолвились, что Анатолий Александрович не очень доволен тем, что вы согласились на эту беседу... Почему?

— Он считает, что в тяжелейшей ситуации, в которой находятся наша страна и наш город, нужно меньше говорить. Время разговоров безвозвратно ушло. Сейчас свои взгляды и убеждения нужно высказывать делами.

— Часто ли бывают ситуации, когда вы поступаете вопреки желаниям мужа?

— Я стараюсь таких ситуаций не допускать. Но, естественно, только на уровне быта, дома и семьи.

— Бывают ли в семье разногласия?

— Очень часто. И, к сожалению, чаще всего именно по политическим мотивам.

— Он прислушивается к вам?

— Да. Он говорит, что я пятая колонна в нашей семье.

— Вам часто удается убедить его в своей правоте?

— Честно говоря, я никогда не ставлю перед собой этой задачи. Но думаю, что, если в результате наших споров он начинает серьезнее размышлять над чем-то, сомневаться, это уже большая победа. Как говорил Вольтер: сомнение — начало мудрости.

— Значит, вы счастливее, чем Горбачев. Ведь даже он не решается спорить с Собчаком.

— В политических делах у моего мужа совершенно твердая линия поведения и ясное понимание того, чего он хочет. Яростность и энтузиазм его выступлений, когда он буквально вылетает на трибуну, многие называют честолюбием. Однако эмоциональный подъем в такие минуты объясняется очень просто: во-первых, тип темперамента, а во-вторых, абсолютная убежденность в своей правоте. Плюс бескорыстие. Мой муж — политический романтик. Он искренне убежден, что необходимо биться головой об эту непробиваемую стену, пытаясь ее все-таки пробить. Он отвечает за каждое свое слово, поэтому и желающим поспорить приходится туго.

— Вы называли Анатолия Александровича политическим романтиком. А вы кто — политический реалист?

— Я бы сказала — политический скептик. И хотя у нас солидная разница в возрасте — более десяти лет, иногда в шутку говорю, что я — старуха Изергиль, а он — Данко.

— Расскажите, когда и как вы познакомились?

— Вы задаете довольно интимные вопросы, что для вашей профессии естественно. Всегда есть что-то, составляющее легендарную ауру любой семьи, и знакомство относится именно к этой сфере... Впрочем, извольте. Это было трудное и тяжелое для меня время: личные неурядицы, жилищные проблемы... Я училась в аспирантуре, и мой научный руководитель посоветовал обратиться к доценту университета, некоему Собчаку, человеку знающему и грамотному. Он был моей последней надеждой, потому что к тому времени я уже обращалась ко всем адвокатам Ленинграда, и они сочли мою ситуацию безнадежной. Я использовала этот последний шанс — и Собчак действительно мне помог. В подобных ситуациях люди пытаются найти выход, обойдя закон. Но он сразу сказал: «Оставьте всякую надежду обойти закон, я в эти игры не играю. Я постараюсь вам помочь, но так, чтобы даже в мелочах не было нарушений». Я про себя отметила это его качество. Надо сказать, что в обыденной жизни оно зачастую мешает.

— Это была любовь с первого взгляда?

— Ну что вы! Любви тогда вообще никакой не было — чисто деловые отношения. Он помог мне совершенно бескорыстно. Единственное, что взял,— цветы, которые я ему преподнесла в знак благодарности. Мы расстались. А через несколько лет «познакомились» заново. И лишь тогда возникло то, что нас и объединило.

— А тогда он проявлял интерес к политической жизни?

— Он был поглощен наукой. Не знаю, можно ли назвать интересом к политической жизни полнейшее неприятие противоправных норм нашей жизни. Для него это было время отчаяния и научного кризиса. В 1973—1974 годах — в самый разгул застоя — он написал докторскую диссертацию, в которой отстаивал принципы рыночной экономики. Его тогда нещадно били, обвиняли в стремлении с молотка продать социалистические предприятия, реставрировать капитализм. Я увидела отзывы на диссертацию и содрогнулась. Слава Богу, что на дворе был не 37-й год. ВАК, конечно же, диссертацию не утвердил. Доктором и профессором он стал позже.

Но как только изменилась общественная ситуация, как только он понял, что его знания могут оказаться полезными, с головой ринулся в политическую деятельность. Исключительно для того, чтобы реализовать, воплотить в жизнь свои теоретические, научные идеи.

— Вы не пытались его остановить? Предостеречь?

— Конечно, пыталась. Я сразу сказала, что эти якобы демократические выборы — на самом деле лишь азартные игры с государством, играть в которые не стоит. Я не верила, что горстка демократов может что-то изменить. Он ответил, что именно из-за таких скептиков, как я, ничего в нашей стране не меняется.

— Как вы думаете, в чем вас могут упрекать недоброжелатели и есть ли они у вас?

— Конечно, есть. Как и у любого, кто на виду. Про нас ходит множество слухов.

— Каких?

— Например, что мы въехали в восьмикомнатную квартиру, купили «мерседесы», шубы и т. д. В возникающих почти ежедневно газетках разных «направлений» иногда такое про себя прочитаешь, что только поражаешься злобной фантазии авторов. Иногда возникает желание подать в суд за клевету, но, подумав, приходишь к выводу: умный и так поймет цену таких «сенсаций», а доказывать что-то дураку — пустое занятие... Времени жаль.

— А что, у вас до сих пор нет «мерседеса»? Несолидно как-то...

— И «Запорожца» нет... Недавно после трехлетних хлопот наконец-то удалось поменять квартиру. 3-х комнатную на 3-х комнатную, но с бо́льшей кухней, а то в прежней 5-метровой ели по очереди. Обошлось это в приличную сумму — весь выплаченный пай за прежнюю квартиру по условиям обмена оставили новым жильцам. И хотя я, как кандидат наук, и муж, как профессор, имеем право на дополнительную площадь, нашлись новоявленные «швондеры» и «шариковы», развернувшие очередную кампанию против Собчака. Перегородим одну из комнат, может, получится небольшой кабинет — первый в жизни! — для мужа. А то мне умилительно было читать в «Советской России» интервью с Л. С. Рыжковой, где корреспондент, описывая комнату Н. И. Рыжкова в два окна, называет его типичным профессорским кабинетом.

Мой муж, проработав 25 лет на университетской кафедре, не имел никогда своего кабинета. Как, кстати, и многие его коллеги.

И еще несколько слов об этой публикации. Хочу искренне послать слова соболезнования моей тезке — Людмиле Рыжковой. Понимаю ее состояние, ибо пережила то же самое — инфаркт мужа — три года назад, когда новогоднюю ночь мой муж провел в реанимации. Поэтому имею моральное право сказать следующее. Тяжелая болезнь не может быть основанием для сентиментально-слезливых призывов о всепрощении провалившейся экономической политики. Вспомним второй Съезд народных депутатов СССР. Как билась горстка депутатов против программы Рыжкова — Абалкина! Но Съезд ее утвердил. Она провалена. Кто виноват? Боюсь, что теперь разговорами о жесткости, отсутствии милосердия будут прикрывать нашего премьер-министра. Недавняя публикация против Г. Явлинского, давшего отрицательную экспертную оценку деятельности Н. И. Рыжкова, это подтверждает. Я не стала бы касаться этого сюжета, если бы не предвидела такого псевдоснисходительного отношения и в будущем. В конце концов, когда Съезд депутатов не раз освистывал и клеймил Собчака, мне и в голову не приходило говорить о перенесенном им инфаркте и просить милосердия, а заодно и дачу. Но, простите, я отвлеклась.

— Вы производите впечатление очень самостоятельной женщины...

— Так оно и есть.

— Трудно ли быть самостоятельной рядом с таким самостоятельным мужем?

— Может, на этом и основан наш союз? Мы уважаем самостоятельность друг друга. Он часто бывает не согласен с моими поступками, но уважает мое право на суверенитет в рамках семьи. А у меня есть все основания гордиться его самостоятельностью.

— Не хочет ли Анатолий Александрович, чтобы вы ушли с работы?

— Нет. Он понимает, что работа для меня очень много значит. Я очень люблю русскую историю, которой занимаюсь; люблю Ленинград, историю которого преподаю; люблю студентов, с которыми у меня очень теплые отношения. Мне интересно работать.

— Мне рассказывали, что задолго до перестройки вы были прогрессивно настроенной женщиной.

— Я никогда не читала лекции с ортодоксальных марксистских позиций. Я читала их по Ключевскому и Соловьеву.

— Изменилось к вам отношение на работе с тех пор, как вы стали первой леди города?

— Коллеги с пониманием относятся к моему положению. Они мне сочувствуют: я ведь сейчас практически стала матерью-одиночкой.

Впрочем, есть люди, которые перестали со мной здороваться с тех пор, как мой муж занялся политикой и особенно после того, как обрушился с резкой критикой на партийных деятелей.

— Вы переживаете?

— Нет. Это их проблемы. Пусть они и переживают.

— Я знаю, что вы организовали в Ленинграде «Хоспис» — больницу для безнадежно больных...

— Инициатором организации у нас в стране «Хосписа» был английский журналист Виктор Зорза, который несколько лет назад пережил личную трагедию: его двадцатишестилетняя дочь умерла от рака. Она умирала в специальной клинике для безнадежно больных, по ее собственным словам,

счастливой. Перед смертью она оставила отцу завещание: создавать сеть подобных клиник по всему миру. Во многих западных странах они уже существовали. И основное внимание он обратил на малоразвитые страны. Я познакомилась с ним на конференции два года назад, потом прочитала его статьи, прониклась этой идеей и решила ему помочь. Мы стали работать. Разумеется, на общественных началах. Когда Анатолий Александрович стал депутатом, я просила его о помощи: он передавал разные письма по назначению, минуя бюрократические препоны. Но мы, может быть, ничего не добились бы без Виктора Зорзы, ведь в нашей стране иностранцам всегда уделяют больше внимания, чем согражданам. Ленинградское управление здравоохранения выделило захудалый барак на окраине без удобств. Мы его отремонтировали, нашли замечательных врачей, и первого октября прошлого года «Хоспис» был открыт. Мы получаем много пожертвований, в основном от промышленных предприятий. Недавно приезжали специалисты из Франции, обещали помощь. Норвежская армия спасения привозит медицинское оборудование.

Кстати, хуже всего к нашей идее отнеслись в Лахте, местное население. Это обычная обывательская психология. У нас считается, что раз человек обречен, значит, ему ничего не нужно: ни комфорта, ни уюта, ни даже элементарной заботы.

— Как строится ваш день, когда вы не связаны с протокольными мероприятиями?

— Толя уходит на работу в восемь. Я встаю рано, чтобы приготовить завтрак. Отвожу дочь в школу. Занятия начинаются в 8.10. Потом еду на работу в институт, если у меня есть лекции, или работаю дома. Потом забираю дочь из школы. Делаю с ней домашнее задание. Стараюсь проводить с ней все свободное время. Очень редко все же выбираемся вместе с мужем в театр или филармонию.

Муж возвращается после десяти часов вечера. Раньше двух-трех спать не ложимся. Если идет трансляция Съезда или Верховного Совета, смотрю и до четырех часов утра. Всем уже надоело, но у меня интерес особый — и политический, и бытовой: наблюдаю, тот ли он надел галстук и вообще как выглядит. Мы ведь в последнее время видим его по телевизору чаще, чем дома.

— Чувствуете его настроение?

— Конечно. И не столько по выражению лица, сколько по тому, как двигается, по пластике. Я чувствую обстановку в зале. Знаю, будет ли он выступать. По лицу Лукьянова я научилась безошибочно определять, даст он слово Толе или нет. Интересно, что дочка, которая пока, слава Богу, еще ничего не понимает в политике, тоже смотрит эти дебаты. Когда на трибуну поднимается очередной депутат, спрашивает: «Мама, это наш или не наш?» Знаю я далеко не всех депутатов, поэтому иногда мне просто нечего сказать. Но самое удивительное, стоит оратору произнести несколько фраз, Ксюша безошибочно определяет: «Это наш человек, папин друг». Или: «Это папин враг, он против папы». Я ее спрашиваю: «Откуда ты знаешь, ты же не понимаешь, о чем он говорит?» Она отвечает: «Я вижу это по лицу и по тому, КАК он говорит». Детскую интуицию не обманешь...

— В семье Анатолий Александрович такой же сильный и суровый, как на трибуне?

— Дома он совсем другой. Мне смешно, когда я слышу о диктаторских замашках Собчака. Уверенность, жесткость его выступлений и действий диктуются ситуацией. По натуре он мягкий, интеллигентный, очень деликатный человек. Если я шлепаю дочку (а такое, увы, случается), он возмущается и ругает меня.

— Помогает он вам по хозяйству?

— Раньше очень много помогал, был редчайшим в этом смысле мужем. Сейчас на это не хватает времени. Но я не в претензии: понимаю, что его работа важнее пылесоса или картошки.

— Он умеет готовить?

— Он готовит замечательно. Детство Толя провел в Узбекистане. Готовит потрясающий узбекский плов, обожает лепить пельмени. Раньше каждое воскресенье занимался домашними делами и обедом, что значительно облегчало мне жизнь. К сожалению, последний раз он готовил на мой день рождения. За целый год это был единственный раз, когда он избавил меня от хлопот.

— Ощущаете себя за ним «как за каменной стеной»?

— Когда женщина говорит такие слова, подразумевается, что муж ее хорошо обеспечивает, помогает в быту... Последнее время я не так уж уверенно себя чувствую — все, что раньше муж делал по дому, приходится делать самой. Но он никогда не предаст, не подведет. Я уверена, что в любой тяжелой для меня ситуации найду у него поддержку и помощь.

— Я начинаю вас жалеть: трудно жить с идеальным человеком?

— Во-первых, действительно трудно. А во-вторых, конечно же, он не идеальный, и у него есть недостатки и слабости. Например, он не очень хорошо разбирается в людях и часто доверяет тем, кто этого не заслуживает. Время все расставляет по местам. Но предательство он переживает очень тяжело.

— Изменился его характер с тех пор, как он стал популярным?

— К сожалению, да. Изменился даже не характер — нервная организация. Он стал совсем издерганным. Только дома может расслабиться, поэтому часто и подолгу молчит, создавая тягостное напряжение.

— Трудно представить себе молчаливого Собчака.

— Да и не похоже это на него вовсе. Но часто его выручает чувство юмора. Он с юмором относится и к провокациям в свой адрес, и к ситуации в Ленсовете. Да и к своей популярности.

— А вам льстит его популярность?

— Приятно, конечно. Но я отношусь к ней спокойно. Понимаю, что доверие народа небезгранично. Мы все очень нетерпеливы. С легкостью создаем себе кумиров, с той же легкостью их низвергаем. Я не исключаю, что голодная зима может не только привести к падению его популярности в городе, но и к требованиям отставки.

— И вам придется лишиться всех привилегий?

— Да, это модная тема. Мой муж пользуется служебной машиной. От положенной ему госдачи мы отказались. Своей пока нет.

— А поликлиники, больницы, продукты?

— Он профессор и прикреплен к университетской поликлинике. Этой же поликлиникой может пользоваться любой студент. Было бы у нас больше времени, я бы пригласила вас домой, открыла холодильник и показала, что там лежит: пять яиц, кусок масла и курица в морозильнике для какого-нибудь торжественного случая.

— Значит, не прав Невзоров в своих выпадах против Ленсовета?

— Я ни разу не слышала от Александра Глебовича выпадов против Ленсовета вообще. Его критика направлена в адрес конкретных депутатов, которые ведут себя не слишком достойно. Когда тот же Невзоров приводит подобные факты из жизни обкома партии — все были довольны. Почему же он должен молчать о Ленсовете? Для него, репортера, все равно, какая власть на дворе. Хотя, признаться, не все в репортажах А. Г. Невзорова мне по душе. Не думаю, что нравственно показывать труп изнасилованной женщины или «множество ножевых ранений». Поверьте, это не ханжество. Всегда в таких случаях думаю, а каково на это смотреть родным убитых? Или вот недавняя его цинично-отрицательная оценка телемарафона «Возрождение Петербурга», который он именовал «развлекательным шоу». Шоу — это когда дети несли свои копилки? Или когда 79-летняя блокадница в штопаных чулках принесла золотые часы на цепочке, не выменянные на хлеб в 42-м году? Или когда тысячи ленинградцев на площади перед театром, где шел марафон, стояли ночью в самой благородной очереди — дать свои деньги на возрождение любимого города? А по поводу «подачек» иностранцев хочу сказать: если родное правительство не может обеспечить униженных и оскорбленных соотечественников, то лучше «умереть, но не сдаваться»? И кто, обещая своему народу все блага, привел к такому положению? Пусть им будет стыдно.

Мне кажется, что так, походя, плюнуть в души людей, искренне желающих помочь городу, или отвернуться от дружески протянутых рук,— недостойно. Это не гордость, а гордыня. А тем, кто тешит свое национальное тщеславие, советую сделать личный взнос и искупить свою вину.

— Влияет ситуация в Ленсовете на атмосферу в вашей семье?

— Сначала мой муж не хотел баллотироваться в Ленсовет. Он считал, что, будучи юристом, должен работать в парламенте, в комиссии по законодательству. Когда избрали Ленсовет, долго не могли выбрать председателя. Собчак был очень популярен. По опросам «Ленинградской правды» в 1989 году стал человеком года. И его пригласили баллотироваться по оставшемуся округу, чтобы затем выбрать председателем. Сначала он был категорически против: это неблагодарная работа. Анатолий Александрович — ученый, теоретик, у него нет практического опыта. Трезво оценив ситуацию, отказался. Но просьбы были настойчивы, к нам в дом приходили толпы депутатов, уговаривали, обещали всяческую помощь и поддержку, убеждали, что, кроме Собчака, город никто не спасет. Мне приходилось принимать участие в этих разговорах — конечно, спокойствие в доме было нарушено.

Его деятельность в Верховном Совете была плодотворной, но очень сложной — он понимал, что бьется головой о стену, и решил, что в рамках хотя бы одного города сможет осуществить свои замыслы и реформы. В ночь выборов, когда шел подсчет голосов, у нас в квартире сидели депутаты Ленсовета, в том числе и Петр Филиппов. Тогда он говорил о безоговорочной поддержке идей моего мужа, о своем желании их осуществить. Сегодня он стал одним из самых ярых его противников, мне больно видеть, как по самым пустяковым вопросам он всегда выступает против. Каково это с точки зрения нравственной — судите сами. К тому же это своеобразный способ приобрести популярность — стать оппонентом Собчака. Вспомните «эффект Полозкова» после скандала с АНТом. И многие депутаты, которых во время выборов я видела в своем доме, ведут себя подобным образом.

— Что же произошло?

— Думаю, депутаты, пригласившие Собчака, хотели видеть в нем «свадебного генерала» на сессиях. Надеялись, что основное время он будет проводить в Кремле, в Верховном Совете. Они думали, что в благодарность за содействие Анатолий Александрович сделает их своими заместителями и отдаст им реальную власть. Но это не в его характере. Он с головой окунулся в ленинградские беды. Заместителями сделал бывших конкурентов на должность председателя, а не товарищей по митингам, или тех, кто услужливо снимал свои кандидатуры. Многим не нравится его жесткость и требовательность. Одно дело, когда эти качества проявляются по отношению к руководству страны, другое дело, когда их приходится испытывать на собственной шкуре.

Считаю, что самая большая опасность нынешнего Ленсовета — необольшевизм. Расшифрую: ряд депутатов, «обижаясь» на Собчака, считают: я такой же депутат, как и председатель, почему он меня поучает, а не наоборот? Ничего страшного, если у меня нет такого образования, зато я — за социальную справедливость. Всем всего поровну!

Попытки Собчака в сегодняшней критической ситуации сосредоточить власть в одних руках, чтобы ударить по разгильдяйству и мафии, воспринимаются как диктаторские замашки! Даже стали пытаться организовывать отзыв депутата Собчака. Вот что характерно: первый секретарь обкома КПСС Б. Гидаспов призывает к генерал-губернаторству на последнем, четвертом Съезде народных депутатов СССР, подписывает печально знаменитое письмо 53-х с призывом к Президенту о чрезвычайных мерах. Но это почему-то не вызывает у этих членов Ленсовета тревоги или инициативы отозвать депутата Гидаспова. По-моему, в такой «принципиальности» предельно ясно: кто есть кто и какие силы стоят за истошными криками таких «демократов».

— По отношению к вам проявляется жесткость Собчака?

— Порой да. Но я исхожу из того, что характер человека, прожившего более полувека, изменить нельзя. Какой есть — таким я его и принимаю.

— Думаю, теперь многие позавидуют Собчаку: не каждая жена способна так отзываться о муже...

— Я знаю цену своему мужу.

— Как должна вести себя женщина, чтобы сохранить крепкую любящую семью?

— Рецепт очень простой — здесь нет никаких рецептов. В любой семье, в том числе и в моей, бывают конфликты. Но самое главное — понимание. Понимание того, что супруг — личность. Как любая личность, он индивидуален и неповторим, имеет право на ошибки и даже на поступки, которые могут тебе не нравиться...

— Вы счастливая женщина?

— Боюсь сглазить...

...А с охранниками я все-таки столкнулась: они буквально оттеснили меня от трапа самолета, в котором отправлялся из Ленинграда в Москву член Президентского совета Вадим Андреевич Медведев с супругой. Он также принимал участие во встрече президента Республики Корея Ро Дэ У. Неужели люди такого ранга боятся корреспондентов? Или просто не доверяют? А жаль — я с огромным удовольствием скоротала бы обратную дорогу за разговорами с его супругой...



КОММУНАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ

НАДЕЖНО ЛИ НАШЕ ЖИЛИЩЕ?

Допустим, некий московский меценат лет сто назад задумал осчастливить всех нас, то есть не только своих собственных детей, внуков, правнуков и праправнуков, но и потомство вообще всех москвичей. И решил построить для столичных жителей грядущего XX века, то есть и для нас с вами, удобные, добротные дома, дабы и впредь не имели его земляки проблем с жильем. Хорошо это было бы для нас или плохо? А это смотря каков оказался бы меценат — умен или глуп. Рассмотрим оба варианта.

Глупый Меценат скликал бы со всей Руси архитекторов, инженеров, строителей и приказал бы на имеющиеся у него миллиарды настроить жилья. И настроили бы. После чего и ближайшие, и более отдаленные поколения москвичей (то есть мы с вами) пребывали бы в великой досаде. Ибо у Глупого Мецената подрядчики сооружали бы дома, конечно же, как у людей от века принято, по наработанной технологии: с деревянными туалетами во дворе, с печным отоплением, с окнами в ладошку, с общей для всех спальней и так далее.

Теперь перейдем к варианту, в котором фигурирует Умный Меценат. Он не спешил бы закладывать 3,3 миллиона русских печек, не стал бы вдруг изводить лес ради постройки 3,3 миллиона надворных сортиров. Но призвал бы он сначала специалистов градостроения со всего мира и попросил бы их спрогнозировать научными методами: «Каким должно быть жилище XX века, дабы не вызвало оно недоумения и насмешек у будущих поколений?» И сказали бы ему знатоки спустя некоторое время: «Отопление в домах должно быть отнюдь не печное, но водяное централизованное, освещение — не свечное, а электрическое, печки — газовые четырехконфорочные, окна большие, туалеты канализированные, воздух кондиционированный, окна-стены шумозащитные, комнат должно быть больше, чем жильцов, сама квартира двухъярусная, под домом — гараж...»

И тогда одно из двух: либо отступился бы Умный Меценат от своего замысла, либо повел бы строительство согласно рекомендациям специалистов. И тогда мы, потомки, хвалили-благодарили бы Умного Мецената, а иностранцы ездили бы к нам — от зависти золотыми зубами скрежетали бы!

О двух картинах, только что мною представленных, мало было бы услышать, что они умозрительны; большинство читателей безапелляционно их отнесет к жанру послеобеденного трепа. Но переживаемая эпоха так фантастична, что вместила, оказывается, реальную аналогию одной из сочиненных мною баек.

В самом деле, именно в наши дни, при вопиющем дефиците платежеспособных меценатов, в Москве было затеяно сооружение жилищного фонда на столетие вперед. Вы вряд ли об этом задумывались, хотя благое начинание было разрекламировано достаточно широко, как только его единодушно одобрил предыдущий состав Моссовета. Речь идет о принятой в 1988 году «Комплексной программе по обеспечению к 2000 году каждой семьи в г. Москве отдельной квартирой в соответствии с решениями XXVII съезда КПСС». Этот документ — городской вариант общесоюзного начинания: «Каждой семье — отдельную квартиру или дом к 2000 году».

Итак, рядовые москвичи, конечно же, не задумывались об ощущениях людей, которые будут жить в наших «отдельных благоустроенных» не до, а после 2000 года. Такая беспечность, может быть, естественна для граждан, далеких от публицистики и политики да еще ошеломленных необъяснимым для них исчезновением сахара и колбасы.

Но поразительно, что на тему «Квартиру XX века — веку XXI» ни словом не обмолвилась большая пресса, не заговорил на трибуне никто из депутатов Моссовета, а ведь среди тех, кто единодушно проголосовал «за», были и ученые-градостроители, и просто люди не чета другим по уму и жизненному опыту.

Попытаюсь в меру возможности прервать затянувшееся умолчание: это совершенно необходимо.

Мемориальные доски напоминают: даже сегодня «работают» дома XIX, а то и XVIII века. Представляете себе, скольким людям они послужили? Но и сколько забот доставили: реконструкции, радикальные переделки, сносы. Нынешние дома тоже возводятся не только для первых новоселов. И главным образом не для них, то есть не для нас.

На пространстве от Бескудникова до Солнцева будут жить несколько очередных поколений москвичей. В частности, и мой сын, и ваша дочь, ваши внуки, а также дети, внуки ваших и моих друзей, соседей, знакомых. Иначе говоря, на протяжении ста лет здесь справят новоселья люди отнюдь нам не чужие — те, о ком мы должны и хотим позаботиться. Поэтому прямо-таки необходимо оценить возводимые сейчас жилища с точки зрения будущих москвичей. Не окажется ли наше благодеяние, на их взгляд, совсем не благодеянием? Чем-то вроде деревянных сортиров Глупого Мецената?

Мы получили бы ответ, явись к нам пришелец из XXI века. Опять фантастика, но для нас, привычных (как упоминалось) к чудесам, и это не такое уж чудо. Достаточно запустить в наш жилфонд вполне сегодняшнего иностранца из любой цивилизованной страны, европейской или азиатской, — и эффект вневременного посещения будет достигнут. Ведь немцы, чехи, саудовские арабы, сингапурцы и «разные прочие» обогнали нас минимум на несколько десятилетий по уровню жилищного комфорта, по удобству среды обитания в целом... хотя иные из наших соотечественников по-прежнему об этом не подозревают!

Итак, немец попал в нашу «современную благоустроенную». «Майн готт!» — воскликнет он, придя в себя. И не верит, что площадь квартиры ограничивается видимой ее частью, то есть тремя комнатами (или двумя, или одной). Он думает: «Наверняка эти загадочные славяне что-то от меня скрывают...» — и ищет потайные двери — нет ли где-либо еще пяти или шести комнат? И куда запрятаны остальные санузлы, ведь (по его заграничным понятиям) они должны быть при каждой спальне? И после того как неприспособленный европейский мозг усвоит наконец нашу реальность, она долго еще будет врываться кошмаром в лучезарные немецкие сны.

Потайных гостиных и закамуфлированных сортиров иноземец не найдет в новейшей московской квартире: нехватка помещений в советском жилище закреплена юридически и ныне формирует наши личности и судьбы, а точнее сказать, коверкает их.

Существуют две простенькие формулы: «эн минус один» и «эн плюс один». Об их существовании подавляющее большинство моих земляков-москвичей и не догадывается.

А в простеньких формулах закодированы наши судьбы. Они и вправду просты: «эн» — количество жильцов в квартире. Добавив к нему единицу с плюсом или с минусом, вы узнаете, сколько именно положено комнат этим жильцам.

Так что формула «эн минус один» в применении к семье из двух человек — это однокомнатная квартира. Для троих — двухкомнатная. А для четверых — трехкомнатная.

Двое, трое, четверо — это типичные московские семьи. А однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные — это

наши типовые жилища. Стало быть, мы живем по формуле «эн минус один».

На Западе «эн минус один» — признак бедности. Как, впрочем, и «эн». У них обычное жилье одинокого гражданина — двухкомнатная квартира. Двое должны жить в трехкомнатной и так далее. Их формула — «эн плюс один».

Поэтому на Западе у каждого среднестатистического жильца есть своя комната плюс на семью общая гостиная. Благодаря чему он видится с другими членами семьи только тогда, когда ему хочется. Смотрит телевизор лишь тогда, когда есть желание, и смотрит только то, что не портит ему настроения. Общается с гостями, пришедшими к родне, лишь если это приятные гости. И приглашает к себе кого хочет, не спрашиваясь у других обитателей семейного гнезда.

Поэтому там, на Западе, они меньше раздражаются. Меньше ссорятся. Лучше спят. Меньше устают. И, естественно, легче поддерживают жизнерадостную, здоровую атмосферу отношений — как в семьях, так и на работе. И в конечном счете приносят своему капиталистическому обществу (или даже феодальному) больше пользы, чем мы — нашему социалистическому... К сожалению, в Москве благами формулы «эн плюс один» пользуются лишь около одного миллиона человек.



Жилищный фонд по формуле «эн минус один» был создан в Москве в основном за 60—80-е годы XX века. Делалось это просто: разрешалось строительство квартир в одну, две, три комнаты. Что сверх того, то от лукавого. А страдали в первую очередь большие семьи, за которые мы на словах готовы в огонь и в воду, которые называем «наиболее социально ценными».

Вращаясь в кругах московских градостроителей, я часто слышал фамилию «Лихачев». Нет, это не был известный филолог, академик, глава всесоюзного фонда культуры. Владимир Александрович Лихачев — один из авторитетнейших плановиков Мосгорисполкома, пересидевший всех мэров на протяжении тридцати с лишним лет. На формировании духовного облика москвичей его деятельность сказалась гораздо заметнее, нежели усилия его знаменитого однофамильца — академика.

Пусть за пределами Моссовета никто о В. Лихачеве не слыхивал. Но когда нужно было решать, в каком количестве строить на следующий год в Москве квартиры для больших семей, то споры прекращал именно Владимир Александрович. Он говорил: «11 тысяч однокомнатных, 30 тысяч двухкомнатных, 18 тысяч трехкомнатных и тысячу — всех прочих» — и это выполнялось строителями в точности.

Так что жилищный фонд под символом «эн минус один» был делом жизни В. Лихачева. Система взглядов столь влиятельных лиц всегда интересует многих. В этом отношении мне повезло. На излете жизненного пути В. Лихачева, в 1986 году, когда ответственные работники еще не подозревали журналистов ни в чем дурном, но журналисты уже были одержимы дурными намерениями, я взял у него интервью.

Публикация вызвала бурю откликов. Издерганные, истеричные московские квартиросъемщики наконец-то узнали, кому именно они обязаны своим образом жизни, и, судя по их письмам, готовы были растерзать В. Лихачева.

Из беседы с видным деятелем жилищного фронта я воспроизведу здесь лишь следующий отрывок:

«КОРР. Многие напоминают о дискомфортности многокомнатных квартир. Представляете себе, что делается по утрам возле туалета, если здесь шесть-семь человек? Кто спешит в школу, кто на работу. А на кухне, где у многих принято обедать? Жара, теснота, духота... Эти недостатки известны со времен первых коммуналок.

В. ЛИХАЧЕВ. Я сам с семьей из пяти человек жил в трехкомнатной квартире. Было так же тесно. И ничего: все выросли, получили высшее образование... Так что не следует городу идти на чрезмерные расходы, наделяя большую семью несколькими квартирами. Ведь это дополнительные кухни, санузлы, коридоры...»

Как вы сами можете заключить, между корреспондентом и ответственным работником дебатировался вопрос: не давать ли большим семьям по две-три небольшие квартиры ввиду отсутствия многокомнатных?

Но главное не это, а четко выраженная позиция жилищного деятеля: перерасходовать народные средства нельзя, а навеки втиснуть весь народ в «экономичные» квартиры можно.

Прекрасно понимаю, что будь на месте В. Лихачева кто-нибудь другой, то ничто не изменилось бы. Ведь чуть ли не все тогда исповедовали тезис: «Что для населения, то в последнюю очередь». Но очевидно и то, что эта логика нанесла огромный вред обществу. Поэтому не пожалею странички, чтобы установить, откуда взялся этот самоедский тезис... может, в другой раз будем осмотрительнее!

Когда мы говорим о войне, то чаще всего вспоминаем то, что быльем поросло: могилы почти полувековой давности, давно разобранные руины и так далее. Но самый устойчивый ущерб война нанесла человеческой психике, в этом даже и сейчас причина многих наших проблем.

Если три-четыре года подряд человек вынужден поминутно втягивать голову в плечи от взрывов вокруг, то вскоре он неминуемо потеряет представление о нормальном образе жизни. Пределом его мечтаний станет избавление от постоянного страха смерти. Он сочтет себя первым из счастливцев уже потому, что нет обстрела, даже сидя в том же вонючем, трупном окопе, по щиколотку в воде.

Многие из фронтовиков посреди военного ада сохранили, однако, и вкус к полноценной жизни, и чувство перспективы. Но власть досталась не им, а ортодоксам «окопного» мышления. Как часто мы слышали после войны: «Тебе отдельную квартиру? Тебе телевизор? А ты под обстрелом сидел? Ты танковую атаку видел?» Сам высший руководитель однажды во всеуслышание заявил примерно следующее: войны нет, хлеба хватает — так что самое главное у народа есть; контекст был таков: неуместно требовать чего-либо сверх благ, только что перечисленных высшим руководителем.

Почтим несомненные заслуги фронтовиков. Но трезво констатируем: пока «духовные окопники» у власти, народу не зажить по-человечески. Не напоминайте мне, что 70 — 80-летние участники войны и так естественным образом уходят от дел,— я не их имею в виду. Окопник живет в каждом из нас.

На протяжении последних лет деятельности В. Лихачева его непримиримым оппонентом был Николай Яковлевич Кордо. Образованный градостроитель, оратор (ему аплодировали даже на официальных совещаниях), Кордо нелицеприятно изобличал Лихачева, а с ним — руководителей МГК КПСС, Мосгорисполкома в градостроительном невежестве, в волюнтаризме. Я готов бесспорно доказать, что эти обвинения были весьма основательны.

Н. Кордо, проявляя мушкетерский темперамент, требовал, чтобы, например, многокомнатные квартиры возводились бы не по тысяче-полторы, как прикидывал на глазок В. Лихачев, а в количестве, установленном благодаря методически проведенному научному расчету. Он отрицал понятие о двухкомнатной квартире как «универсальной». Семье каждого типа, проповедовал он, соответствует определенный тип жилища. Руководитель лаборатории Н. Кордо организовал демографические исследования, чтобы научно обосновать программы жилищного строительства в Москве. Так была определена численность семей каждого типа и показано, какие соответственно нужны Москве квартиры, каково их число.

Я с величайшим почтением принял табличку, которую вручил мне однажды Кордо,— это был плод его многолетних изысканий. И обмер: ученый-градостроитель, непримиримый враг невежества, он методически доказал, что новые квартиры должны быть... еще теснее, чем планировал его вечный оппонент. Итак, передо мной был тот же В. Лихачев, только как бы «онаученный» и лет на тридцать омоложенный.

Хорошо сказано: «Мы все оттуда».

Сейчас Н. Кордо занимает видный пост в Государственном комитете по архитектуре и градостроительству. Он участвовал в разработке майского Указа Президента СССР по жилищному вопросу. А двумя годами раньше вместе с большим коллективом авторов сдал Моссовету уже упоминавшийся труд: «Комплексную программу по обеспечению к 2000 году каждой семьи в г. Москве отдельной квартирой в соответствии с решениями XXVII съезда КПСС».

Во исполнение этого документа к 2000 году жилищный фонд Москвы должен был содержать около полумиллиона квартир в четыре, пять и более комнат. Но семей в три, четыре и более человек согласно прогнозу той же «Комплексной программы» будет в Москве к концу XX века почти два миллиона... Полуторамиллионный дефицит!

Да что же в таком случае программирует документ для развитых семей? А, оказывается, дальнейшее строительство тех же одно-, двух- и трехкомнатных реликтов, которые уже не нужны Москве в перспективе. Их уже больше, чем надо будет в XXI веке, о чем я подробнее скажу чуть позднее.

В дальнейшем новое строительство в городе до крайности затруднится, ибо уже сейчас здесь мало свободных территорий. Это значит, что на 70—80 лет мы должны отказаться от обычного для большинства европейцев количества комнат в наших квартирах. О других признаках жилищного комфорта уже и не заикаюсь. Двое в комнате — вот приговор градостроителей минимум каждому четвертому москвичу.

Двое в комнате... По поводу этой ситуации многое могут сказать психологи, физиологи, экономисты, милиция, суды. Удержусь от соблазна пересказывать все, что просится на бумагу, но воспроизведу строки письма одной женщины:

«Я близко знаю три семьи, где из-за совместного проживания складывается трагическая обстановка. А сколько сейчас людей, которым за тридцать, и они только из-за того, что живут с кем-то из родителей, не могут создать семью! Я сама живу с 34-летней дочерью в двухкомнатной квартире 23,7 кв. метра. У нас нет неприязни, но обе живем и мучаемся. Мне жаль ее. Она одинока, и я в том помеха. Она не приглашает никого в гости, не собирает друзей, так как в моем присутствии нельзя курить (я астматик). Она жалеет меня, я —

ее. Стараюсь ни о чем не спрашивать, ничего не советовать, так как она стала очень раздражительной. Разве это жизнь? Так у нас еще не худший случай — не ругаемся, не деремся».

Вот она, атмосфера типичной московской семьи. Вот она, формула «эн минус один» на практике. Перед нами самые близкие друг другу люди, но их начинает трясти уже от звука родственных шагов. Пожизненная казнь. Вот что планировали перенести в XXI век составители «Комплексной программы».

Недавно глава столичных коммунистов Ю. Прокофьев сказал наконец «на людях» то, что, наверное, не раз говорил в более узком кругу: «...Сорвано выполнение социальной программы «Жилье-2000». И сослался в объяснение на «трудности развития столичной строительной индустрии».

Неудивительно, что даже плюшкинская «Комплексная программа» не по силам подневольным солдатам и клиентам «отрезвиловки», так сказать, решающим кадрам московского домостроения. Неудивительно и потому, что сами предприятия в таком развале, что их и реконструировать-то весьма затруднительно. Еще бы — работают с 50-х годов.

Но что непонятно, так это грусть, явственно звучавшая в словах Ю. Прокофьева. Гип-гип-гип, ура, Юрий Анатольевич! Если это крах, то мы заждались такого краха. Будь московские «домостроиловки» в полном порядке, они, не дай бог, исправно выполняли бы «Комплексную программу» и тем только отдаляли бы нас во времени от нормальных, общепринятых в Европе условий жизни.

Московское домостроение разваливается, значит, необходимо создать совершенно другое московское домостроение. Когда-то еще представится подходящий момент? Нужно такое домостроение, чтобы Москва получала 120 — 150 тысяч многокомнатных квартир ежегодно. Таких квартир, которые построил бы Умный Меценат, придуманный мною для зачина этой статьи.

А продолжающееся строительство квартир в одну, две, три комнаты необходимо прекратить с сегодняшнего дня. Разом. Все мы, конечно, демократы. Но будь я «самым главным», ей-богу, один раз все же ввел бы войска. На ДСК-1, на ДСК-2, на ДСК-3. Солдат с автогенами, с бульдозерами, с таким, знаете ли, большим-пребольшим стальным шаром на цепи. Что угодно, только не бессмыслица тупого градостроительного конвейера, только не дальнейшая деградация моего города!

Выполнять и дальше нынешние программы жилищного строительства — значит совершать преступление ради «галочки». Вы в этом сейчас убедитесь из следующей части статьи — цифровой, наверное, скучной, но очень важной.

Во-первых, зачем Москве однокомнатные и двухкомнатные квартиры? В перспективе это жилища только для одиночек. Таковых, по официальным данным, в городе около 700 тысяч человек. Правда, учтены лишь обладатели отдельного лицевого счета. Думаю, на самом деле в Москве около полутора миллионов одиноких (с добавлением тех, кто предпочел бы жить отдельно от родни). Но ведь уже сейчас существует примерно 650 тысяч однокомнатных квартир и 1 миллион 400 тысяч двухкомнатных! Чтобы заселить их, пришлось бы некоторых неженатых (незамужних) бездетных квартиросъемщиков отрывать от родни уже насильно... Итак, строить квартиры из одной-двух комнат не надо. Но их строят десятками тысяч в год!

Что касается семей из двух человек, то их в Москве тоже около 700 тысяч, а трехкомнатных квартир для них около 800 тысяч, и тут перебор! Но и тут строят беспощадно.

Но тем и кончаются достижения массового жилищного строительства в столице за тридцать с лишним лет. Дальше — людские слезы. На полтора миллиона развитых семей (от трех человек и более) в городе на сегодня... около 100 тысяч квартир в четыре, пять, шесть и более комнат. Одна пятнадцатая часть потребности. По нашим понятиям, это «министерские квартиры», «маклерское золото». И они же обычные квартиры средней европейской семьи...

Конечно, если бы в 50 — 60-е годы гигантские средства не пожирались бы строительством «универсальных» (по В. Лихачеву) двухкомнатных квартир, то сейчас мы были бы гораздо ближе к «европейскому варианту». Но, как мы видели, в 50 — 80-е годы у нас не решали жилищную проблему, а экономили на ее решении.

Что же, скупой платит дважды. Тридцать лет назад мы не создали достойные жилища для многосемейных, отдав предпочтение «экономичным» двухкомнатным квартирам. Истратили на них тем не менее десятки миллиардов рублей. И теперь вновь оказались перед армией обездоленных, затесненных больших семей. Неужели и теперь отложим «на потом» их судьбу? Чего будем ждать? Повсеместного Оша?

Или ждать пришествия сказочного Умного Мецената?

Искушенный читатель, наверное, уже ощущает, что в приготовленном мною блюде не хватает важнейшего ингредиента. Он восклицает: «На пороге рынка — и ни слова о рынке! Но как раз он и выполнит роль Умного Мецената!».

Слов о рынке у меня нет потому, что нет рынка. Пока что в обществе есть лишь разговоры о рынке. И если отсчитывать его приход от реального улучшения жизни, то рынок обнаружится очень не скоро. Особенно это справедливо в отношении рынка жилья. Для дельцов рынка строительство новых домостроительных комбинатов не самое выгодное занятие, потому что слишком долго ждать отдачи.

А что если вообще не будет рыночных отношений в строительстве? И не только в нем? Скептики этого не исключают, а в нашем Отечестве именно они всегда были лучшими предсказателями.

Так что делать? Ждать, ждать и ждать рыночного мессию? Или с отчаяния схватиться за потрепанные, скрипучие рычаги административно-приказной системы? Что, трудно ответить на эти вопросы?

Да нет, совсем нетрудно. Трезвая оценка ситуации приводит к выводу: нужно использовать все возможные средства, в том числе и рубль, и кулак, и униженные просьбы, обращенные к иноземным доброжелателям.

Дело в том, что московские жилые дома находятся как бы на положении заминированных объектов, причем время, отведенное на ожидание взрыва, уже на исходе. Это известно каждому, кто интересовался вопросом. Существует угроза, от которой, как это у нас принято, все трусливо отводят очи. Дан прогноз, который оправдал бы союз с дьяволом.

Судьба жилищной проблемы в Москве напрямую связана... с кем бы, с чем бы вы думали?

Не больше, не меньше как с ржавым стальным прутом. Когда это изделие окончательно проржавеет и лопнет,— это и станет «часом икс» Москвы. Тогда не помогут ни ретивые администраторы, ни энергичные рыночники, ни заграничные доброжелатели.

Если к этому (пока загадочному для вас) событию не будет создана домостроительная отрасль нового типа (120—150 тысяч вполне современных квартир из четырех и более комнат ежегодно), то решение проблемы отодвинется на неопределенный, но продолжительный срок. Те, кому сейчас за тридцать, в подавляющем большинстве не доживут до комфорта и уюта, какой привычен гражданам средней европейской страны.

— Что за прут? Почему ржавый? И при чем тут жилье? — так, наверное, реагируете вы сейчас.

Давайте вместе разберемся в вопросе, тем более что он весьма актуален. Как утверждают знатоки, роковая железка дышит на ладан.

Не буду вас томить и раскрою тайну. Речь идет о пруте стальной арматуры железобетонного дома. Кирпичное строение, если сложить его по всем правилам, проживет тысячу лет. Гранитное — и того больше. А вот срок жизни железобетона исчисляется десятилетиями. Лопнет стальная «кощеева игла» — рухнет панельно-блочное «кощеево царство». Сравнение уместное, особенно если вспомнить крайнюю скаредность тех, кто создал жилищный фонд Москвы.

Разрушение столичного жилья примет характер катастрофы. В период бума строили много, значит, много придется и сносить. Не верите? Ваше дело. Вы и про колбасу, про сахар не поверили бы, скажи я вам это лет пять назад. Поверите, когда вас придавит.

Можно составить довольно точный график массовой гибели московских жилых домов. Если, например, в некоем году XX века возведено 100 тысяч квартир в домах из крупных панелей, значит, и валить их придется одновременно, в один год, по истечении расчетного срока службы. Не повалим — сами повалятся.

Но и в том, и в другом случае — снос ли, саморазрушение ли — придется компенсировать ежегодно от 55 тысяч до 120 тысяч утраченных квартир. Строить заново, строить взамен. Вот это и есть самое страшное. Потому что если протянем без новых домостроительных комбинатов до «часа икс», то 120—150 тысячами квартир в год уже не обойдемся. Нужно будет выдавать по 200—250 тысяч новых квартир ежегодно. Такова будет чудовищная по тяжести расплата за скупость, прежнюю и нынешнюю.

И опять мечтается: быть бы мне Самым Главным. Тогда сегодня же, с обеда, приказал бы рушить все три московских домостроительных комбината. Издал бы Указ: всем под страхом строжайшей кары позабыть, что бывает новое жилье. Бросить все обычные дела и сооружать новые домостроительные комбинаты, такие, как у немцев (или как у французов).

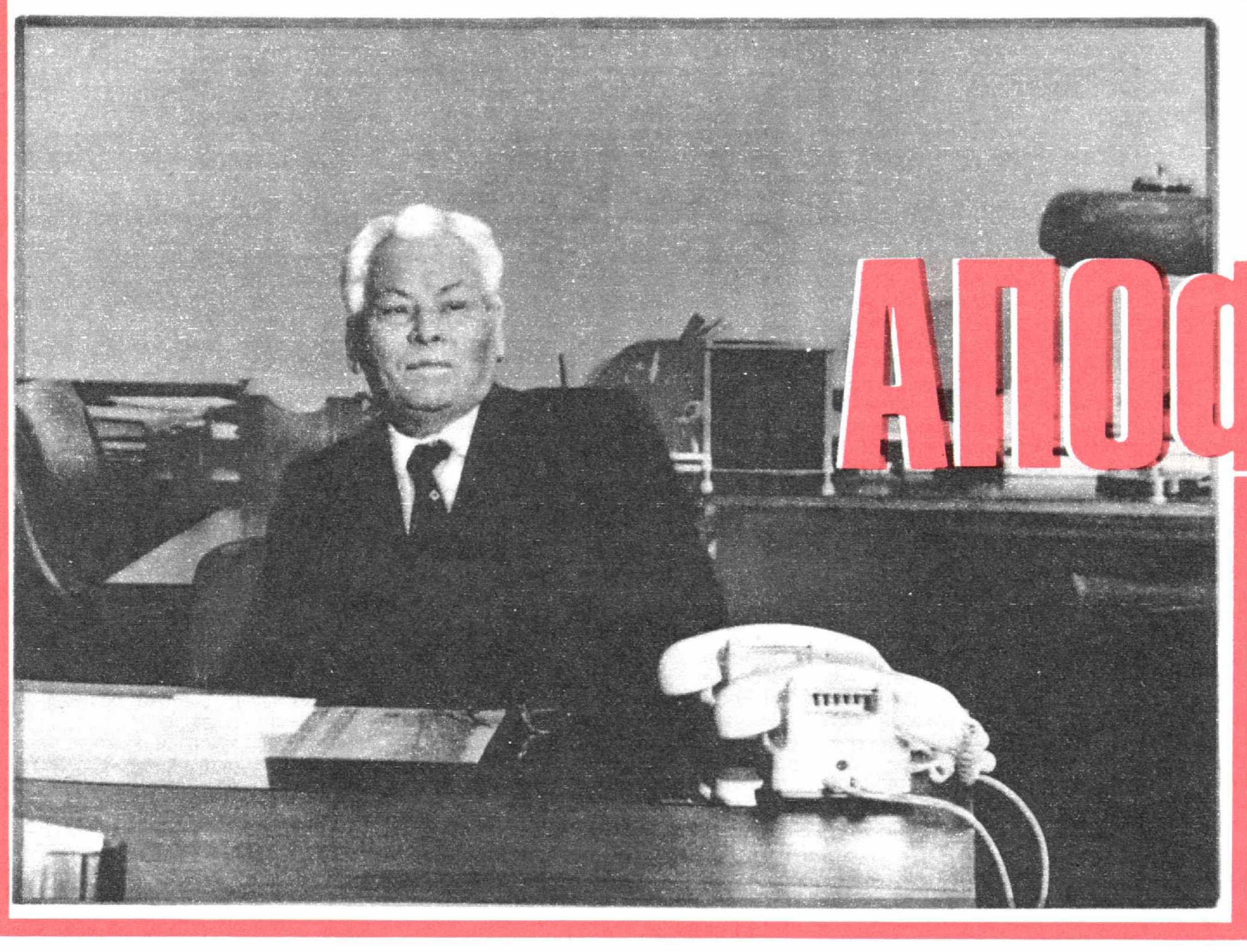
И, ей-ей, все равно, кто будет строить их: рыночник ли, антирыночник ли, коммунист, консерватор или радикал...

Лишь бы поскорее. Стальной прут ведь не уговоришь: погоди, мол, железка, не лопайся.

С. СМОЛКИН,
обозреватель газеты «Архитектура».
Фото Юрия ФЕКЛИСТОВА



Илья ЗЕМЦОВ



АПОФЕОЗ

В № 3 журнала за 1991 год мы начали печатать отрывки из книги западного политолога Ильи Земцова «Черненко: Советский Союз в канун перестройки». Публикацией этих фрагментов предлагаем вам материал для раздумий.

В Высшей партийной школе, куда направили Черненко, было два факультета: трехгодичный для низовых или начинающих партийных работников, и одногодичный для ответственных и руководящих. На одногодичный Черненко не прошел, как не имевший высшего образования, и был зачислен на трехгодичный. Но в аппарате ЦК, по-видимому, сжалились над попавшим в немилость секретарем крайкома и его определили на второй курс — из уважения к его давним заслугам. Так что ему предстояло учиться «всего» два года. Но для него это было «целых» два года мученичества, унижения и страданий, потому что трудно давалась ему наука. Систематических знаний он не имел — были лишь куски и клочки случайных сведений, осевших за десяток лет его пропагандистской деятельности,— разрозненные постановления ЦК, решения различных съездов и пленумов, выдерганные цитаты из сочинений классиков марксизма-ленинизма, больше всего Сталина. И все. И приходилось неделями просиживать над политической экономией, философией, правом, советским строительством (был и такой предмет). И зубрить — слово за словом — «Краткий курс истории ВКП(б)».

Память, не привыкшая к умственному труду, не усваивала и не удерживала информации. И Черненко тяжело, хуже других, сдавал экзамены, с трудом перелезая от семестра к семестру. И постоянно его не покидало чувство неполноценности. В ВПШ в годы войны был особый подбор слушателей: пожилые мужчины, по возрасту или по болезни выбракованные от службы в армии, инвалиды войны — с тяжелыми ранениями или после серьезной контузии, бывшие политработники батальонного масштаба и женщины, совсем недавно приобщенные к партийной работе. Женственности в них не было никакой — у многих мужья погибли на фронте, озабоченные — дом и хозяйство были брошены на произвол судьбы, жестокие. Работа в партийном аппарате оставалась единственным смыслом их положенной жизни.

Черненко не трогала ни торжественность помпезного, в стиле социалистического ренессанса, здания партийной школы, с широкой мраморной лестницей и тяжелыми колоннами (помещение его — казалось, как это было давно,— крайкома было не менее величественным), ни уютность приглушавших шаги красных дорожек — точно такие лежали в коридоре, ведущем в бывший его кабинет, ни сверкающий паркетом огромный читальный зал с тысячами книг — книги были его врагами, они изматывали его силы, лишали сна.

И Москва была не той, что приветливо встречала его до войны. Суровая, затемненная, перепеленутая черными лентами окон. Холодная. Ходить приходилось пешком или давиться в троллейбусах и трамваях, а раньше в ЦК охотно предоставляли ему, секретарю крайкома, сверкающие черным лаком автомашины ЗИС. Голодная — жители города бродили истощенными тенями по магазинам в поисках продуктов. Сам Черненко ни в чем не испытывал недостатка. В столовой партшколы кормили три раза в день обильно и сытно, а по карточкам, в особых распределителях, можно было без труда приобрести яичный порошок, тушенку, копченое мясо.

И жилось Черненко сравнительно с москвичами неплохо — в комнате с сокурсником, в теплом и уютном общежитии ВПШ. Но одиноко и неустроенно сравнительно с бывшей жизнью, в которой была у него пятикомнатная квартира напротив крайкома партии, и рядом жена и сын. Далеко, в Томской области (хорошо, что не на войне), служил брат. Больше не поджидали у подъезда услужливый помощник (ему самому время было искать покровителя) и обязательный, готовый выполнять любые приказания порученец; сейчас Черненко сам был на посылках у профессоров школы. Он был один в большом городе. В ЦК из старых приятелей мало кто остался: многие были репрессированы, кое-кто мобилизован, а те, кому удалось зацепиться в столице, стремительно лезли вверх. И напоминать им о себе (пока что) Черненко не хотел. Знал: может рассчитывать на благосклонное отношение только к одной своей просьбе — и приберегал ее ко времени окончания школы.

Раз в неделю в партийной школе устраивались культпоходы: в картинные галереи, на концерты, в музеи (дирекция школы заботилась о художественном воспитании своих учеников). И там Черненко чувствовал себя неуютно: живопись его утомляла, прошлое не интересовало, симфоническая музыка наводила скуку. Он оживлялся только в театрах: таинственная жизнь, красочная, светлая, на фоне реальной — угрюмой, безысходной, мрачной.

Высокие лепные потолки, мерцающие светом люстры, оживленная публика напоминали об утраченной (на время) прошлой жизни. И женщины, что приходили сюда отогреться, были не те, что он встречал на улицах,— в грязных ватниках, тащившие тяжелые балки на стройках. Они были молодые, рослые — с некоторыми из них у него устанавливались приятельские отношения.

В антрактах он внимательно прислушивался к разговорам офицеров, прибывших на побывку в столицу. Они были непохожи на радостные, оптимистические военные сводки, что передавали по радио. Но, как бы там ни было, в конце 1944 года прояснилось: война идет к концу. В этом убеждали и артиллерийские салюты. Сначала они были раз в месяц, в неделю — по случаю взятия городов и выигранных сражений, затем — чуть ли не ежедневно. И наконец, случались и по нескольку раз в день. Ждали победы, по этому случаю страна облачалась в мундиры; в форменную одежду одели юристов, железнодорожников, дипломатов, школьников. В партийной школе прошел слух, что создают ее и для партийных работников — с серебряными эмблемами для секретарей райкомов, с позолоченными — горкомов и золотыми — обкомов. Форму для партийных чиновников не придумали. Но если бы ввели, то Черненко бы достался золотой символ: по окончании школы он был назначен (видимо, вспомнил о нем Маленков) идеологическим секретарем Пензенского обкома партии. Конечно, это был шаг назад: Пензенская область не Красноярский край, в котором могло уместиться с десяток таких областей. Созданная перед самой войной, она была чуть ли не самая неразвитая и бедная советская провинция: с десяток предприятий, несколько вузов, краеведческий музей и картинная галерея. И еще, слышал Черненко, область отличалась неналаженным и сильно разоренным войной сельским хозяйством.

Но он был счастлив вырваться из Москвы. В этом городе он, сброшенный с партийного пьедестала, познал оскорбление совсем не привилегированной (вернее — не совсем привилегированной) жизни и не предполагал тогда, осенью 1945 года, что здесь придется ему, спустя почти сорок лет, ненадолго насладиться упоительной сладостью высшей власти.

Радость Черненко оказалась преждевременной — лицом к лицу Пенза произвела на него гнетущее впечатление. Деревянные тротуары, немощеные улицы, грязь, убожество, непробудное пьянство. Нищета. В квартирах, перерезанных фанерными перегородками, ютились по нескольку семей: местные жители, беженцы, фронтовики. Работы на всех не хватало, население в войну увеличилось вдвое, а крупные предприятия были вывезены на Восток. Область в войну зачахла, оскудела и засохла. Черненко, однако, не унывал — он все еще был молод и по-прежнему честолюбив, и он попытался как можно скорее вжиться в роль идеологического руководителя области.

Окончание. Начало см. в № 3.

И постарался в новой своей должности найти нужный и правильный тон — его ему подсказали партийные инструкции. Москва решила превратить Пензу в центр развития тогда еще новой в стране химической промышленности. В 1946 году в городе начинается сооружение бумажно-целлюлозного комбината. И Черненко обращается к строителям с призывом: «В ударном году, на ударной стройке не 365 дней, а 365 суток!». Предложение утверждается обкомом и становится повинностью: вводился обязательный трехсменный режим работы.

Черненко не стремился — и не умел — сойтись с людьми, узнать их интересы, разобраться в их проблемах. Предпочитал руководить ими из своего кабинета, через многочисленных помощников. И даже если он оказывался среди рабочих, продолжал говорить и мыслить штампами и лозунгами. Както в процессе монтажа оборудования на текстильном комбинате сорвался и упал подъемный кран. Инженеры предложили заменить его системой блоков. Черненко воспротивился и потребовал «политического анализа» аварии. «Не представляя обстановку политически,— развивал он свою мысль,— нельзя найти правильного решения, а без него — сделать шаг вперед». И соответствующий вывод сделали: на участке были выявлены вредители.

Пенза не выполнила план хлебозаготовок за 1946 год и выполнить его была не в состоянии. Область была разорена обременительными госпоставками зерна — урожай реквизировался на корню, а то немногое, что оставалось у крестьян, забиралось машинно-тракторными станциями в виде натурального налога за сбор урожая. Так что колхозники получали за работу лишь символическую плату — по галочке в регистрационных книгах: амбары артельные были пусты. При этом колхозники еще оставались в долгу перед колхозом — за сено, что скармливали скотине, за полив приусадебных участков. С них, крохотных, в четыре десятых гектара, они как-то кормились. Осенью поспевали овощи, а зимой питались картошкой — ее запекали — с похлебкой. И еще были яйца и молоко. Фруктов никаких, мясо ели, только когда закалывали свинью.

Жизнь у крестьян была беспросветная, тягостная: вставать приходилось с зарею, в пять утра. Наскоро доили корову и подавались на колхозное поле. Поздно вечером без сил плелись на свои огороды — полоть, поливать.

Самую тяжелую физическую работу вынуждены были выполнять женщины — выпалывали и чистили свеклу, сидя на сырой земле, сеяли рис, грузили хлеб, собирали солому. Они были наиболее затравленны и унижены в советской деревне. И бесправны — брались за работу, от которой отказывались мужчины, предпочитавшие устраиваться ездовыми,— возили корма и зерно, конюхами или же работали в мастерских.

Сельские технократы, механизаторы и трактористы, жили несколько лучше. Они получали постоянную зарплату в МТС и были независимы от колхоза, но, как все жители деревни, были захвачены и парализованы серостью и тупостью сельской жизни.

На верху уродливой колхозной пирамиды располагалась сельская элита — председатель колхоза, председатель сельсовета, секретарь парткома, бригадиры. Жили они несравненно лучше других — в добротных домах и досыта питались с общественной фермы и из колхозных амбаров.

Такой характер носило социальное расслоение (вернее — разложение) деревни Пензенской области, когда туда приехал Черненко.

Захотело бы и сумело партийное руководство заинтересовать колхозников в их труде — производило бы расчет за работу погектарно, а за собранный урожай платило хотя бы минимальную зарплату, и, возможно, не появилось бы в 1947 году свирепого постановления ЦК, в котором утверждалось, что в Пензенской области «неудовлетворительно занимаются делом восстановления и развития производства зерна и особенно медленно восстанавливают посевные площади и урожай». И еще отмечалось, что на многих колхозных фермах едва насчитывалось восемь коров. А откуда бы им быть больше? Не то что коровам, крестьянам в Пензенской области есть было нечего. Но Черненко находит своеобразный ответ на критику Москвы: он организует от имени колхозников области письмо Сталину, в котором они обещают «родному отцу и другу» — именно так и пишется,— «что постановления февральского пленума станут боевой программой для трудящихся села», которые будут трудиться не покладая рук для выполнения следующих планов.

Письмо Сталина не убедило, и было решено передвинуть Черненко в Молдавию. В Москве, по-видимому, полагали, что в этой республике пропагандистский запал Черненко будет менее обременителен и более полезен — здесь проходила полоса идейной целины, Советская власть только утверждалась. И хорошая доза пропагандистского вливания могла оказаться нелишней. Черненко назначается в 1948 году заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК Молдавии.

Это было уже второе в пять лет номенклатурное падение Черненко: из секретаря крайкома через вынужденное учение в партийной школе — в секретари обкома. И оттуда — в заведующие отделом ЦК крохотной и самой незначительной советской республики. И самой проблематичной. Временами Черненко казалось, что он возвращен в прошлое,— перед ним в молдавской миниатюре прокручивались уже просмотренные и пережитые им кадры советской истории: депортация, аграрная реформа, раскулачивание, коллективизация.

Он быстро обнаружил, что агитация в Молдавии проводится отвлеченно, не увязывается с задачами «текущего момента». И по его распоряжению в республиканских газетах вводится постоянная рубрика «На агитационном пункте». Появляется и первая жертва — Резинский райком партии, в котором, как оказалось, не был создан ни один пропагандистский лекторий и не были организованы группы агитаторов. Сделан им был и первый организационный вывод — снят секретарь райкома. В общем, разворачивается обычная партийная рутина, но с одним исключением. Резинский райком партии попал под критику не Центрального Комитета компартии Молдавии, а одного из его отделов — пропаганды, что явно превышало его полномочия и функции, но свидетельствовало об особых возможностях его руководителя — Черненко. И еще — о неумности его амбиций, не умещающихся в рамках его относительно скромной должности.

Они находят выражение в его статье, опубликованной как передовая в газете «Советская Молдавия». Ее идея — она впервые выражена в республиканской прессе столь откровенно — Ленина нет, он принадлежит прошлому, но есть Сталин, и с ним советский народ идет (и уверенно придет) к коммунизму.

Черненко развивает бурную деятельность: проводит многочисленные митинги и совещания, встречи. Поводы самые разные и чаще случайные: обмен опытом, лекторская работа, пропаганда критики и самокритики. При этом им часто вспоминается и цитируется высказывание Жданова: «Там, где нет критики, там укрепляются затхлость и застой, там нет движения вперед». Он активно насаждает в Молдавии тот же стиль, что и в Красноярске и Пензе,— начетничество, догматизм, оторванность от реальности. Но преодолеть себя он пока что не в состоянии. Он словно забыл, что уже более не секретарь крайкома или хотя бы обкома, а всего лишь заведующий отделом провинциального ЦК. И стремится убедить (и преуспевает в этом) в том, что в республике он — ставленник Москвы (а не изгой, заброшенный сюда игрою случая). Демонстрирует решительность, надеясь на ближайшем, втором, съезде компартии Молдавии «выскочить» в секретари ЦК по пропаганде.

На съезде, однако, в 1949 году Черненко ожидала неудача: он не вошел в мандатную комиссию, не был избран в секретариат съезда, хотя его коллега и соперник Квасов, руководитель сельскохозяйственного отдела ЦК, оказался в президиуме съезда. Ему же пришлось довольствоваться сомнительной ролью одного из членов Редакционной комиссии съезда. Но наибольшее унижение ожидало Черненко впереди. Первый секретарь молдавского ЦК Н. Коваль в своем отчетном докладе не счел нужным вообще упомянуть об идеологической работе — словно ее не существовало. Отмахнулся от нее как от чего-то незначительного, мелочного, второстепенного. При этом он подробно остановился на работе промышленности, затронул тему социалистического переустройства деревни, призывая к борьбе с подпольными элементами (они определялись как кулацкие). И игнорировал пропаганду и агитацию, хотя — Черненко был убежден в этом — колхозы необходимо начинать создавать с глубокой промывки мозгов, а под клише кулацкой опасности можно было и следовало — в соответствии с инструкциями Москвы — подвести неудачи в сельском хозяйстве. Как же, по-видимому, недоумевал Черненко, вне идеологического контекста возможно понять и объяснить массам потерю бдительности руководством республики, по вине которого крестьяне продавали скот перед вступлением в колхозы, проводили фиктивное разделение земли, утаивали от обобществления сельскохозяйственный инвентарь. Сомнений (для Черненко) не было — трудности колхозного строительства объясняются недостатками агитационной работы. Он спрашивал у себя: «По каким линиям ведет борьбу классовый враг?». И ответ возникал сам собой (у него, но почему не у Н. Коваля?): «Распространение шовинистической пропаганды». Черненко считал ее ответственной за насаждение провокационных слухов (об ожидаемом голоде), за клевету на партийных агитаторов, которые «насильно загоняют крестьян в колхозы», вменял ей в вину запугивание бедняков и середняков (собираются отнять у них паспорта и навсегда привязать к сельским Советам без права передвижения по стране).

Но наибольшая опасность таилась в том, что враги Советской власти (под ними Черненко понимал всех более или менее зажиточных крестьян) прибегают к искусно замаскированным средствам борьбы. Подделываются под бедняков и проникают в колхозы с тем, чтобы дискредитировать и взорвать их изнутри. Разлагают трудовую дисциплину, запутывают учет, растаскивают общественное добро, портят инструменты, срывают выполнение государственных планов. Так, в соответствии со сталинской схемой, должна была проходить классовая борьба в деревне — он усвоил ее еще со времен своей работы в Сибири. Но почему ее не видит и не понимает партийное руководство республики — Черненко не мог понять. Конечно, существуют местные условия (это ему разъяснили в Москве): население республики, по крайней мере значительная его часть, еще находится в плену буржуазных предрассудков и настроений. Но классовая борьба — был убежден Черненко — беспощадна, об этом напоминал Сталин, и необходима поэтому была непримиримость к национализму. А в Молдавии же тем временем — так казалось Черненко — руководство утратило классовое чутье и проявляет непозволительную самодеятельность: не использует должным образом политику ограничения кулацких хозяйств — финансовые обложения, ущемления в правах. Подрывная деятельность не получает принципиальной партийной оценки и рассматривается как мелкое уголовное преступление — виновные караются без должной строгости. В республике слабо и вяло ведется борьба с космополитизмом и продолжает функционировать все еще еврейский театр, объявления о спектаклях которого публикуются республиканскими газетами.

Да и сама партия застыла, окаменела, топчется на месте: она едва насчитывала два десятка тысяч человек, а из них чуть ли не двадцать процентов — кандидаты. ЦК не осуществляет оперативного руководства первичными организациями, принимая решения (часто парадоксальные, например, о переустройстве могил), не осуществлял контроля за их выполнением, не предъявлял требовательности к своим ответственным работникам.

И совсем нетерпимое положение сложилось, полагал Черненко, в пропагандистской работе — в ней царили неорганизованность, разобщенность, некомпетентность. На всю республику едва насчитывалось две сотни штатных агитаторов. Необходимо было позаботиться об их образовании и повышении уровня их теоретической подготовки. Здесь поучительным мог оказаться личный пример — он зачисляет себя в пединститут, а затем распоряжается расширить при ЦК девятимесячные курсы переподготовки партийных работников. Дело пошло, и уже в 1949 году на них училось 314 активистов. Теперь следовало обратить взор на провинцию, и в городах республики, Бельцах и Тирасполе, создаются вечерние университеты марксизма-ленинизма, в которые было отобрано 878 низовых партийных работников. Не забыл Черненко и сотрудников аппарата ЦК — для них он открыл постоянно действующий семинар по изучению трудов Сталина и заодно распорядился приступить к организации 66 заочных и вечерних партийных школ, где должны были обучаться 2000 коммунистов — десятая часть всех членов партии Молдавии.

Так различными видами идеологического обучения Черненко удалось в течение первых двух лет работы в республике охватить 92,3 процента членов партии. Но все-таки не всех. Более полутора тысяч партийцев выпадали (пока что) из-под его контроля. Оставались и другие нерешенные проблемы. Не была переведена на национальный язык ни одна из работ Ленина. Из трудов Сталина (или о Сталине) на молдавском языке были изданы только его книга «О Великой Отечественной войне» и краткая биография. Вся же библиотека марксизма ограничивалась одним «Манифестом Коммунистической партии».

Преодолевая трудности, Черненко взялся за улучшение партийного обучения. В течение 1949 года он организовал более 45 тысяч пропагандистских собраний, на которых присутствовали более 9 миллионов человек, то есть на каждого жителя республики, включая грудных детей, приходилось по десять посещений. Населению республики было прочитано 35 тысяч лекций — они собрали (точнее — на них собрали) 6 миллионов слушателей.

А затем, доведя пропагандистскую работу до необходимой количественной кондиции, Черненко принялся совершенствовать и улучшать ее качество. Выяснилось, что агитация на селе носит «кампанейский характер» (так определил Черненко, и эта формула стала широко использоваться прессой), проводится формально, бездумно, а в городах из нее полностью выпадает интеллигенция (как подсчитали — более 40 тысяч человек).

Черненко обнаружил, что в молдавской литературе каким-то образом сохранились некоторые общечеловеческие (то есть внепартийные) ценности и идеалы, а в исторической науке и публицистике насаждается объективизм.

Эти вредные и опасные для властей тенденции следовало немедленно изжить. Но как? Черненко не рассчитывал найти понимание на месте — ни первый секретарь ЦК Коваль, ни председатель Совета Министров республики Г. Рудь не испытывали к нему расположения. И он решил апеллировать к Москве — к председателю бюро ЦК по Молдавии В. Иванову и его заместителю В. Ефремову. Там он, по-видимому, нашел понимание и поддержку. Однако не сразу — и из республиканских газет неожиданно на несколько месяцев исчезла рубрика «В отделе пропаганды» (гордость Черненко, его пропагандистская трибуна). Это проявляло недовольство им республиканское начальство. Но гнев его не был (ему не позволили быть) долгим, отчуждение же и неприязнь к Черненко в республике остались навсегда.

Черненко «заявляет» о себе республиканским совещанием пропагандистских работников. На нем находят выход его верноподданнические настроения. Главным объектом своих нападок он избрал писателей. Они предмет его тайной и давней неприязни. Еще со времени постановления ЦК Молдавии по литературе, принятого 22 ноября 1948 года, Черненко хорошо помнил обвинения, которые партия предъявила писателям. Обвинения тогда были отобраны из лексикона кампании борьбы с «безродным космополитизмом», прошедшей годом раньше в Москве. Им инкриминировалось: идеализация прошлого, забвение законов классовой борьбы, формализм, либерализм, эстетизм, отступление от принципов социалистического реализма.

Грубость и хамство по отношению к писателям, с которых срывались их псевдонимы, чтобы не оставалось сомнения в их еврейском происхождении, были добавлены Черненко по собственной инициативе. Ему же принадлежали и некоторые специфические, заквашенные на местных условиях обвинения: неумение распознать эксплуататорскую сущность румынского национализма, неспособность в должной мере оценить просветительскую миссию русских царей, захвативших и поработивших Молдавию. Отмечены, несомненно, печатью личности Черненко такая характеристика, даваемая писателям, как «иезуиты идеологического фронта», и обвинение: «беспринципность, посвященная приятельским интересам» (сконструировано им по упоминаемой нами ранее модели «кампанейские интересы»).

В канун проведения республиканского совещания пропагандистов в центральной газете «Советская Молдавия» появилась погромная статья с анализом состояния литературной критики. Группе известных литературоведов ставились в вину «сумбурные представления о художественном творчестве» (данное обвинение влекло административное наказание — исключение из Союза писателей) и «науськивание читателей против наших духовных ценностей» (это уже было преступление политическое, и мера его пресечения предполагала арест и длительное тюремное заключение). Выпад газеты был анонимным, что могло означать одно из двух: статья составлена Черненко или инспирирована им. Она не могла быть написана каким-либо сотрудником газеты, ибо в ней содержалась острая критика самой газеты, а если бы это была самокритика, то она не вправе была фигурировать без подписи.

Важнейшая черта Черненко в те годы — стремление во всем и всюду усматривать или изыскивать объект борьбы, в которую он обязательно должен был втянуться. Предметом его борьбы в весну и лето 1949 года стала молдавская литература. Его неприязнь к явлениям, выходящим за рамки его понимания, была безграничной. Он воспринимал их как оскорбление, как угрозу существованию — естественному и социальному: «Партию вздумали учить!»

При этом Черненко стремился по возможности держаться в тени — грязную работу предпочитал давать делать другим. Именно поэтому он и решил поручить своему заместителю Ильюшенко провести собрание в Союзе писателей. Но его повестка дня была, несомненно, разработана самим Черненко и до мелочей и до деталей напоминала и повторяла пресловутую статью в газете «Советская Молдавия». Та же недоговоренность, та же беспощадность — на совещании разбиралась «антипартийная» деятельность авторов журнала «Октябрь», но имелась в виду вся молдавская литература, которой партия (в лице Черненко) предъявила обвинение «в безыдейности» и забвении «принципов социалистического реализма». И совсем не случайно среди писателей, подвергнутых критике, большинство оказались евреи — Боржанский, Альтман, Гуревич и еще восемь литераторов.

Выставленные против них обвинения и холодные, бездушные, снисходительные оценки — «антипатриотизм», «попытки помешать росту молодых национальных талантов», «стремление к искусственному преувеличению недостатков молдавской литературы», «протаскивание декадентских теорий» — являлись проявлением и выражением официального антисемитизма, докатившегося до Кишинева. В 1949 году в Молдавии начались массовые перемещения и увольнения евреев с ответственных постов. И среди первых был «очищен» от евреев идеологический аппарат Черненко.

Разделавшись с «космополитами» (не вполне, он к ним еще вернется в 1952—1953 годах — на волне кампании преследования «убийц в белых халатах» *), Черненко устремил свои взоры на село, где второй съезд компартии Молдавии приступил по требованию Москвы к осуществлению сплошной коллективизации.

Было решено послать в деревню тысячу членов партии и тысячу тракторов (по одному коммунисту на трактор). Столь оригинально задуманная пропорция между числом членов партии и количеством тракторов, однако, не сработала — она не привела к обобществле-

---

*** В 1952 году по указанию Сталина было инспирировано «дело врачей» — известные работники здравоохранения обвинялись в подготовке заговора с целью убийства руководителей правительства. В апреле 1953 года они были реабилитированы. (Прим. автора.)**



Фото Алексея ГОСТЕВА



нию крестьянских хозяйств: к концу года все еще четверть крестьянских дворов была вне колхозов. И тогда Черненко попытался организовать в сельских районах республики круглосуточную работу агитаторов — «в полном соответствии со стремлением наладить круглосуточную работу тракторов». Возглавляемый им отдел пропаганды ЦК публикует в молдавских газетах рекомендации для массово-политической работы в деревне, отряжает своих представителей в политотделы МТС.

Но коренных (социалистических) преобразований в сельском хозяйстве так и не происходит, и оказывается сорванным план государственных поставок зерна и фруктов. В результате отстраняется от должности второй секретарь ЦК И. Зыков, а затем, спустя месяц, снимают еще одного секретаря ЦК — М. Радула. Черненко представляется, что зашаталось кресло и под первым секретарем ЦК Н. Ковалем. И он спешит подтолкнуть его — сообщает в Москву, что руководство республики недооценивает идеологию, пренебрегает воспитательной работой.

У приехавшего из России Черненко вызывали подозрения традиционные связи Молдавии и Румынии — он расценивает их как проявление национализма, его возмущает и латинский алфавит молдавского языка: непонятен и — что самое опасное — от него веет западным влиянием. Не без его участия местная письменность переводится на славянскую азбуку. И Черненко начинает чувствовать себя более уверенно: языка он по-прежнему не понимает, но выглядит тот менее отчужденно — можно прочитать написанное.

Начинает он испытывать удовлетворение и от работы. Ему удается загнать в систему партийного просвещения уже 100 тысяч человек — они ведут пропаганду коммунистических знаний, создают при партийных комитетах советы атеистов — для искоренения религиозных настроений и морали. Новый этап его деятельности — открытие «Клубов родителей» в целях контроля за семейным воспитанием.

Довольны были деятельностью Черненко и в Кремле. Его награждают орденом Трудового Красного Знамени — честь, оказанная явно не по рангу. И тем неожиданней оказывается для Черненко критика, обрушившаяся на него на пленуме ЦК республики в феврале 1950 года. Это был ответный удар Коваля, которого, вопреки ожиданиям Черненко, не сняли (как вскоре выяснится — до празднования торжеств по случаю 25-летия образования республики). В вину Черненко ставилась неудовлетворительная работа его отдела — оторванность пропаганды от экономической жизни. Затем шли стандартные упреки, им же ранее предъявляемые местным организациям: ошибки в подборе кадров, их малоопытность и неподготовленность, частая смена пропагандистов. Наступление на него велось многопланово: отмечалась и неудовлетворительная работа клубов, театров, обществ по распространению политических и научных знаний. И в заключение следовал личный выпад: неквалифицированный инструктаж партийных агитаторов.

Черненко, однако, чувствуя поддержку Москвы, не думал сдаваться, понимая, что на этот раз смещение ему не грозит, и принял вызов Коваля. Он инспирирует в «Правде» статью, номинально направленную против «Советской Молдавии» (она представляется газетой, оторванной от жизни), а по существу — против первого секретаря ЦК республики. Коваль и вместе с ним все руководство республики упрекались в том, что они не уделяли должного внимания созданию колхозов, утаивали от общественности отставание промышленности, оказались беспомощными в организации социалистического соревнования, избегали критики и самокритики и вообще — смотрели на жизнь полузакрытыми глазами. Словом, согласно статье, они лишены чувства партийности и не видят новых явлений советской жизни. Черненко подготовил и осуществил еще один выпад против Коваля — он обвинил в безграмотности и хищениях (а заодно и в бюрократизме) давнего его друга Цончева, управляющего республиканским издательством.

И когда Коваль был, наконец, в июле 1950 года снят, Черненко почувствовал могучий прилив сил. С необычайной страстностью и даже с некоторым пафосом, ранее никогда не проявляемым им, он в своих выступлениях — вслед уходящему секретарю ЦК — обрушился на «недобитые националистические элементы», на «враждебные влияния, стремящиеся оживить пережитки капитализма в сознании советских людей» и призывал вступающего в должность первого секретаря ЦК республики Леонида Брежнева оздоровить обстановку в партийном аппарате — ликвидировать склоки, наладить дисциплину и укрепить его людьми динамичными, инициативными и, конечно же, идейными.

Черненко, не иначе, предлагал для выдвижения самого себя. Понимал, что подошел к проблемному возрасту — сорока годам, когда он уже не молод и еще не стар. Наступала зрелость, умудренная многочисленными политическими срывами и закаленная столь же многими номенклатурными падениями,— время для решительного и, может быть, главного рывка наверх. Любой ценой следовало вновь прорваться в идеологические секретари. А затем, набравшись опыта и восстановив старые связи, осмотрительно двинуться к пятидесяти годам в первые секретари какой-нибудь солидной области — и на том почтенно закончить карьеру.

И решил Черненко на этот раз не повторять ошибок прошлого — не вступал ни в какие конфликты с первым секретарем, не выставлял свои знания и опыт, не хвастал заслугами. Смирился перед ним, доверился ему, стал незаметным, оставаясь необходимым. Не то чтобы Брежнев привлек его обходительностью и вниманием, или же, напротив, подавил суровостью и властностью — просто новый секретарь оказался непохожим на привычных Черненко партийцев. Брежнев был из молодой плеяды советских руководителей, поднявшихся к политической деятельности сразу же после войны, он не любил и не желал вникать в детали работы, не готовился к выступлениям, полагался на интуицию, не вчитывался в деловые бумаги — требовал их краткого (в полстраницы) изложения. В нем угадывались сила и независимость. Значит, решил Черненко, есть у него поддержка в Москве, и быстро догадался — Хрущев. И еще — в новом секретаре просматривался авантюризм. Сразу же по приезде в Кишинев Брежнев доложил Сталину об успешном выполнении — на 102,9 процента — хлебозаготовок, хотя несколькими неделями раньше, при снятии Коваля, говорилось — и ставилось тому в вину — невыполнение трехлетнего плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов.

Черненко знал, что цифры надуманные. Ему самому по требованию Брежнева не раз приходилось переосмысливать отчеты: повышать показатели идейной работы и занижать число верующих по республике. Какое-то время он испытывал неловкость и даже смущение. Но очень быстро сумел внести в процесс государственного очковтирательства упорядоченность и систематичность. Он подсказал Брежневу, что лучше подталкивать руководителей на местах представлять благополучные показатели, а не манипулировать — это было рискованно — сводками в ЦК республики. Идея понравилась. И вскоре Брежнев смог послать Сталину рапорты о досрочном выполнении поставок зерна, затем — шерсти, далее — винограда.



Большая самоуверенность Брежнева (подумать «наглость» — Черненко не решался) не пугала его: он был причастен к «бумажной революции» в молдавском сельском хозяйстве. И испытывал определенную — это и его победа — гордость, когда Брежнев сообщал в 1951 году: в течение двух лет урожай винограда повысился в шесть раз, свеклы — в четыре раза, табака — в полтора раза, укрепилась экономика колхозов, и теперь каждый четвертый из них — миллионер.

Позже, когда Брежнев окажется в Кремле, искажения в отчетах производственных показателей станут называть «приписками» и будут квалифицировать их как уголовное преступление. Но в начале 50-х годов, у истоков зарождения и становления этой традиции советского управления, Брежневу, ка-

залось, удавалось все. Он сумел кого-то покорить в Москве, и там опыт развития сельского хозяйства в Молдавии был признан показательным и рекомендован всем республикам. Ему удавалось вытягивать из союзного Госплана дополнительные фонды (за счет других республик) для строительства в Кишиневе электростанций, текстильных комбинатов, сахарных и консервных заводов.

Секрет популярности Брежнева в Москве был известен немногим, но больше других сумел проникнуть в него Черненко. Он стал его доверенным лицом. Брежнев быстро понял, что Черненко — чужой в Молдавии — его не предаст, некому. И стал давать ему деликатные поручения. Следить за отправкой в Москву специальных самолетов с отборными фруктами и цветами со скромным уведомлением: «Великому вождю от молдавских трудящихся». По тому же адресу шли многочисленные составы, груженные шелковистым каракулем — гордостью гагаузских крестьян, известными молдавскими креплеными винами и изысканным выдержанным коньяком. Сталин подарков не видел. Они разбирались и растекались в строгом соответствии со степенью близости к диктатору.

В первые месяцы Брежнева в Молдавии показалось, что новый секретарь правит республикой благодушно, чуть ли не по-семейному — не желая никого обижать, чтобы кругом были благоденствие и покой. Но вдруг, в 1951 году, он стал неожиданно грубо расправляться с неугодными. Снял несколько министров, отправил на пенсию Председателя Президиума Верховного Совета республики, произвел перемещения в партийном аппарате. Решил он проверить на надежность и Черненко. На четвертом съезде Компартии Молдавии не ввел его — впервые — в Редакционную комиссию съезда и подверг злой критике отдел пропаганды — за ошибки в газетных публикациях, за идейные срывы лекций, примитивную агитационную работу, недостатки в марксистском образовании, неудовлетворительное воспитание интеллигенции и многое другое.

Черненко обиды не высказал, злости не затаил. И первый пришел поздравить Брежнева с переводом в столицу, когда того на XIX съезде КПСС забрали в Секретариат ЦК. И тогда, возможно, Брежнев окончательно решил взять с собой Черненко. Но оказалось, что в октябре 1952 года до Москвы Черненко было далеко. В Молдавии он задержится еще на четыре года — переживет падение своего покровителя. И его возвышение. В марте 1953 года со смертью Сталина Брежнева после недолгого пребывания в Москве отправят в политическую провинцию — заместителем начальника Главного политического управления Советской Армии. Затем его загонят вторым секретарем ЦК в Казахстан. Там целинная лихорадка выбросит его в первые секретари республики с тем, чтобы на XX съезде Компартии в феврале 1956 года выплеснуть опять в Москве. Он вновь станет секретарем ЦК КПСС и вернет себе утраченное на три года место кандидата в Президиуме ЦК (теперешнее Политбюро). Пройдет немногим более года, и Брежнева изберут полным членом Президиума. Но перед этим — поздней осенью 1956 года — он затребует в столицу Черненко, которому суждено будет стать первым и, как окажется, главным звеном в длинной цепи молдавской мафии, которая потянется за Брежневым в Кремль.

СТРОГАНОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Наталия **СЕМЕНОВА**

Право именоваться первыми российскими меценатами могут оспаривать несколько фамилий, но в первую очередь Строгановы, чей род на протяжении веков поддерживал развитие художеств в России. В начале XVII века Строгановы сделались «именитыми людьми». С той поры члены семейства, по преданию, выкупившего из татарского плена князя Василия Темного, а сто лет спустя снарядившего удалых волжских казаков Ермака Тимофеевича в поход на Сибирь, получили право писаться по полному отчеству и быть подсудными только личному царскому суду. Мало того, исключительные права Строгановых — строить города и крепости, содержать ратников и лить пушки — навечно закреплялись особой статьей Уложения. Первое высокое звание владельцы огромных великокамских, зауральских, сольвычегодских, устюжских и нижегородских имений заслужили от взошедших на царство Романовых за денежную и ратную помощь в борьбе с польско-шведским нашествием. За неоценимые «заслуги отечеству и престолу» последнего «именитого человека» Григория Дмитриевича Строганова (главной заслугой считалось снаряжение им двух фрегатов в Северную войну) Петр Великий в 1722 году возвел его сыновей в баронское достоинство. От награжденных дворянским званием и новыми землями братьев Александра, Николая и Сергея пошли три ветви рода.

Богатство строгановской фамилии, получившей еще в XVI веке грамоту на дикие северные леса и соль, не поддавалось описанию. Им принадлежали металлургические заводы, золотые прииски, соляные промыслы. Олово, медь, железо и свинец, добывавшиеся на строгановских рудниках, дали толчок развитию ремесел. Изобилие разнообразных металлов, привозившиеся из Европы высокохудожественные изделия, искусные иностранные, но больше отечественные мастера способствовали пышному расцвету прикладных искусств на севере России. В древнем Усольске на Каме (превратившемся в город Сольвычегодск) Строгановы содержат мастерские, в которых работают живописцы, вышивальщицы, серебряных дел мастера. Строгановские ювелиры настолько искусны, что им поручено делать оклады для иконостаса Успенского собора в Московском Кремле. В конце XVII века на всю Россию знаменито «усольское дело» — роспись по эмали. У Строгановых собственные иконописные мастерские; они заказывают и скупают иконы у столичных московских мастеров. В беспокойное Смутное время Строгановы поддерживают лишившихся дворцовых заказов иконописцев. Могущественные заказчики ставят на обороте свое клеймо, а на полях икон оставляют пометки с именем мастера. Благодаря именитым покровителям, поощрявшим изысканность стиля, в истории русской иконописи навсегда осталось знаменитое «строгановское письмо» — тонкое и изящное по рисунку, богатое орнаментом, нарядное по цвету.

Указ Петра I о возведении Строгановых в дворянское достоинство изменяет жизнь рода — первые бароны поступают на государственную службу. Начинается новая полоса в истории древней фамилии — придворная. Растрелли строит для барона Сергея Григорьевича дворец на углу Невского проспекта и набережной Мойки, который вместе с прекрасной картинной галереей и богатейшей библиотекой переходит к его сыну Александру Сергеевичу — самому знаменитому из Строгановых. Александр Строганов блестяще образован, проводит многие годы в Европе. Он просвещенный знаток и ценитель прекрасного, покупающий в путешествиях по Италии и Франции картины, облагораживая и без того выдающееся собрание. Строганов сам выступает в качестве исследователя и издателя каталога своей коллекции (факт для того времени уникальный). С его личного разрешения Строгановскую галерею в Петербурге разрешается посещать всем любителям искусств, а для воспитанников Академии художеств в ее стенах читается курс теории и истории живописи, включенный в академическую программу благодаря графу Александру Сергеевичу. В 1800 году владелец дворца, бывшего, по общему признанию современников, «средоточием истинного вкуса», назначается директором Публичной библиотеки и президентом Академии художеств, почетным членом которой он был со дня ее основания.

Строгановское президентство совпало с «золотой эпохой» академии «трех знатнейших художеств», переживавшей расцвет классицизма. Для поддержки талантов Строганов не жалел собственных средств — он помогал художникам с заказами, старался снабдить их средствами для заграничной поездки. Благодаря Строганову, курировавшему строительство грандиозного Казанского собора, к созданию монумента русской славы были привлечены лучшие силы: архитектор Андрей Воронихин (бывший крепостной Строганова), скульпторы Мартос и Прокофьев, живописцы Боровиковский и Егоров. С завершением строительства собора оборвалась жизнь знаменитого русского вельможи: на его освящении он простудился и вскоре умер.

По-своему замечательна личность следующего Строганова — Сергея Григорьевича, женатого на старшей дочери президента Академии. Брак этот был не случаен: он соединил две ветви рода, их обширные владения и художественные коллекции, упрочив знаменитый строгановский майорат, превосходивший по величине любое из малых европейских государств. Граф Сергей Григорьевич не только покупал новые полотна для прославленной Строгановской галереи, гордившейся работами Бронзино и Боттичелли, Перуджино и Корреджо, Пуссена и Лоррена, но и пополнял редчайшее нумизматическое собрание, увеличившееся до 60 тысяч монет. Достойно продолжая традиции рода Строгановых, он интересовался положением «свободных художеств».

Знакомство с французской системой ремесленного образования, дававшей необычайное совершенство изделий, подтолкнуло графа написать проект «Школы рисования в отношении к искусствам и ремеслам». Идею создания школы по образу и подобию парижской «ecole des dessine» одобрил император Александр I. Осенью 1825 года на Мясницкой улице в Москве на средства графа Строганова, желающего «доставить ремесленникам и торговым людям возможности улучшать свои изделия при содействии науки и искусства», открылась рисовальная школа. Спустя 18 лет, за которые граф израсходовал на школу более 400 тысяч рублей, заведение было по его собственной просьбе принято в казну. Выполнив свою миссию по созданию первого художественного училища в России, граф Строганов сделался «организатором науки». Со Строгановым — попечителем московского учебного округа наступило «строгановское время» Московского университета. При новом попечителе в университете профессорствовал цвет российской науки — Погодин и Соловьев, Грановский и Буслаев, Катков и Надеждин. Строганову удалось добиться разрешения отправлять воспитанников университета за границу слушать лекции европейских ученых знаменитостей. Граф входил в Общество истории древностей российских при университете, руководил многотомным изданием «Древности Российского государства». Именно он основал археологическую комиссию и положил начало раскопкам на побережье Черного моря, реставрировал на свои средства Дмитровский собор во Владимире на Клязьме. С восшествием на престол Александра II «высокообразованный аристократ» С. Г. Строганов переселился в Петербург, чтобы руководить воспитанием великих князей.

Последним владельцем строгановского майората, включавшего дворец с баснословными сокровищами, был Сергей Александрович Строганов. Ничем не прославившийся граф жил в Париже, редко наведываясь в Петербург. Дворянство оскудевало, аристократия сходила со сцены истории. Музей быта, созданный в Строгановском дворце сразу после революции, в 20-х годах, был ликвидирован и быстро разошелся по запасникам столичных музеев. Кстати, 256 предметов из этой коллекции были проданы в мае 1931 года на аукционе Лепке в Берлине за умопомрачительно низкую цену в 613 326 долларов. Растреллиевский шедевр поделили между собой различные ведомства. Реорганизованное и вновь возрожденное Строгановское художественно-промышленное училище сохранило имя основателя, хотя и вынесло его в скобки. Однако приписка «бывшее Строгановское» не умаляет вклада Строгановых в русскую культуру. Все это в прошедшем времени, но бывшим президентом должна была бы гордиться Академия художеств, так же как бывшими строгановскими коллекциями — Эрмитаж и Пушкинский музей, а училище — своим основателем.

ОГОНЁК

Надежда ДМИТРИЕВА

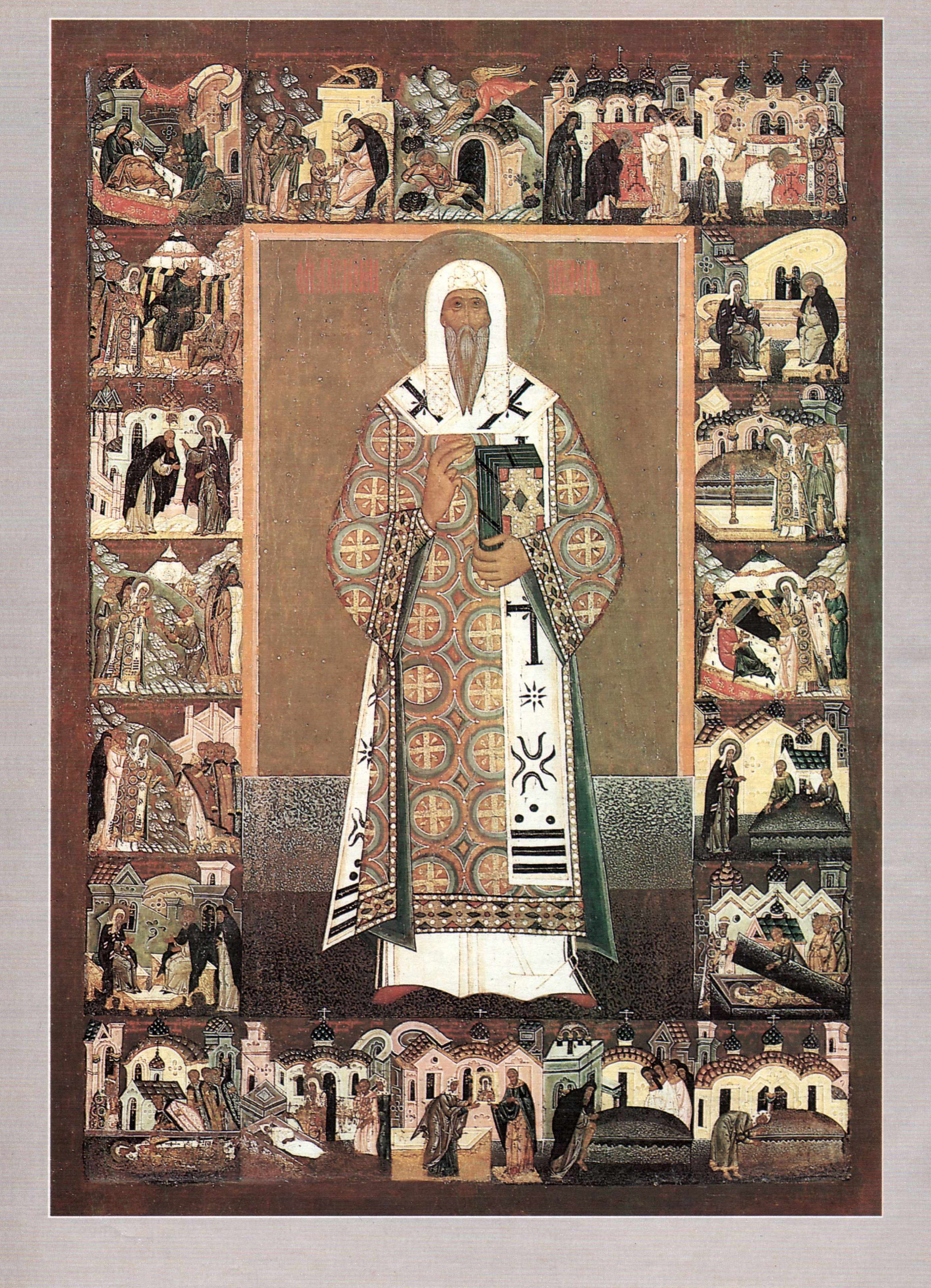
...Легенда гласит: в Смутное время, когда польское войско гуляло по Руси, был разорен и сожжен Ростов Великий. Поляки приблизились и к соседнему Борисоглебскому монастырю. Все иноки разбежались, остался лишь преподобный Иринарх, приковавший себя железной цепью к обрубку дерева. Польский гетман Сапега был поражен необыкновенным подвигом старца. И сказал ему преподобный: «...А ты, господин, возвратись в свою землю, полно тебе на Руси воевать, а не выйдешь из Руси или опять придешь и не послушаешь Божья слова, то будешь и убит на Руси».

Сапега не стал разорять монастырь и оставил старцу знамя, захваченное незадолго до этого. Впрочем, вскоре Сапегу настигла смерть в Москве.

Прошли века, и «знамя Сапеги» украсило экспозицию выставки «Искусство строгановских мастеров. Реставрация, исследования, проблемы», прошедшую в залах Академии художеств. Здесь было представлено около 90 древнерусских икон и более 40 произведений лицевого шитья — произведений, созданных некогда в «иконных горницах» и «светлицах» именитых людей Строгановых. Систематическое изучение и реставрация работ строгановских мастеров начались в 1920-е годы. Выставка — итог деятельности нескольких поколений реставраторов и искусствоведов Государственных центральных реставрационных мастерских (ныне — Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И. Э. Грабаря). Низкий поклон всем, кто находил, спасал, исследовал эти замечательные памятники, возвращал из небытия, снимал позднейшие записи и искажения. Это позволило нам впервые соприкоснуться с удивительным явлением русской культуры рубежа XVI—XVII веков в таком многообразии.

С домовым храмом Строгановых — Благовещенским собором в Соли Вычегодской — связано большинство произведений, представленных на выставке. Большемерные (высотой около двух метров) иконы украшали местный ряд иконостаса. Среди них «Благовещение с праздниками», «Троица в бытии», «Спаситель на престоле с предстоящими», «Богоматерь Одигитрия». Столпы собора с трех сторон также были покрыты иконами с изображением Страшного суда и святых, соименных создателям храма («Великомученик Никита с житием», «Максим Исповедник»). Произведения, вышедшие из «иконных горниц», позволяют заново осмыслить

Богоматерь Гора Нерукосечная (фрагмент). Конец XVI века. Сольвычегодский историко-художественный музей. Реставратор Т. Мосунова.



Митрополит Алексий с житием в 20 клеймах. Конец XVI века. Сольвычегодский историко-художественный музей. Реставратор Н. Дунаева.

понятие «строгановская школа», до сих пор считавшееся не более чем условным наименованием направления в русской иконописи, объединяемого лишь «рядом общих черт: небольшими размерами, изображением миниатюрных фигур в нарочито изящных позах».

Особый раздел выставки — лицевое шитье — единственный вид древнерусского изобразительного искусства, которым занимались и женщины. На вкладных надписях рядом с именем заказчика часто встречается и имя хозяйки мастерской.

Во всех иконах и произведениях лицевого шитья, вышедших из мастерских Строгановых или выполненных по их заказам московскими «государевыми иконописцами», видно стремление сохранить строгий стиль предков.

На «знамени Сапеги» (явно созданном в «светлицах» Строгановых и неведомыми путями попавшем к полякам) — двухстороннее изображение архистратига Михаила в воинском одеянии. В правой руке архангела — меч. Вверху — благословляющая фигура Бога Отца. Внизу — фигура Иисуса Навина, полная благоговейного смирения: шлем ниспал с головы, руки снимают обувь. По слову Божьему — земля, на которой он стоит, свята есть. Для многих поколений дома Строгановых и замечательных мастеров, чье творчество связано со Строгановыми, их земля была свята.

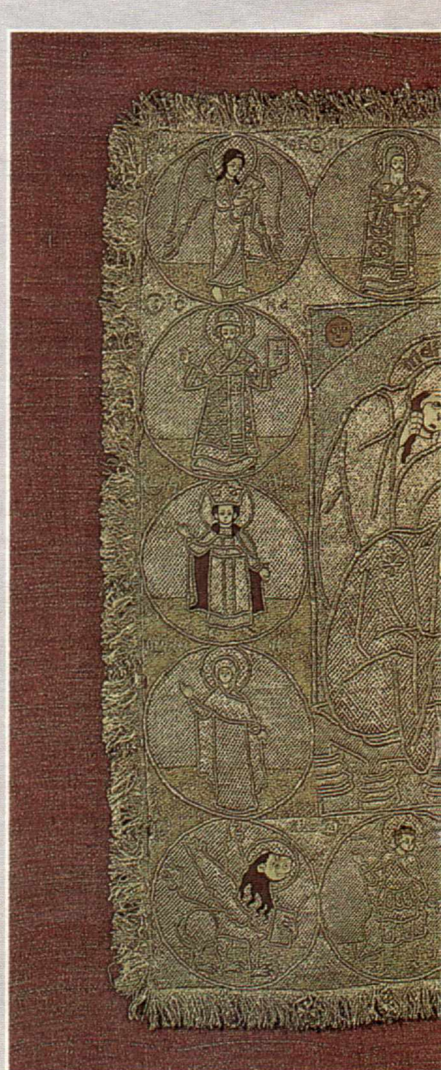
Знамя «Явление архангела Михаила Иисусу Навину» («Знамя Сапеги»). Начало XVII века. Государственная Третьяковская галерея. Группа реставраторов под руководством Т. Александровой-Дольник.



Фрагмент «Жития
митрополита Алексия».

Покровец «Се Агнец». Середина XVII века. Пермская художественная галерея. Реставратор Т. Горошко.

Воздух «Положение во гроб с избранными святыми». Около 1661 года. Мастерская А. И. Строгановой. Ростовский архитектурно-художественный музей-заповедник. Реставратор А. Белякова.







Прокопий Устюжский, предстоящий Богоматери с младенцем. Конец XVI века. Сольвычегодский историко-художественный музей. Реставратор С. Добрынин.

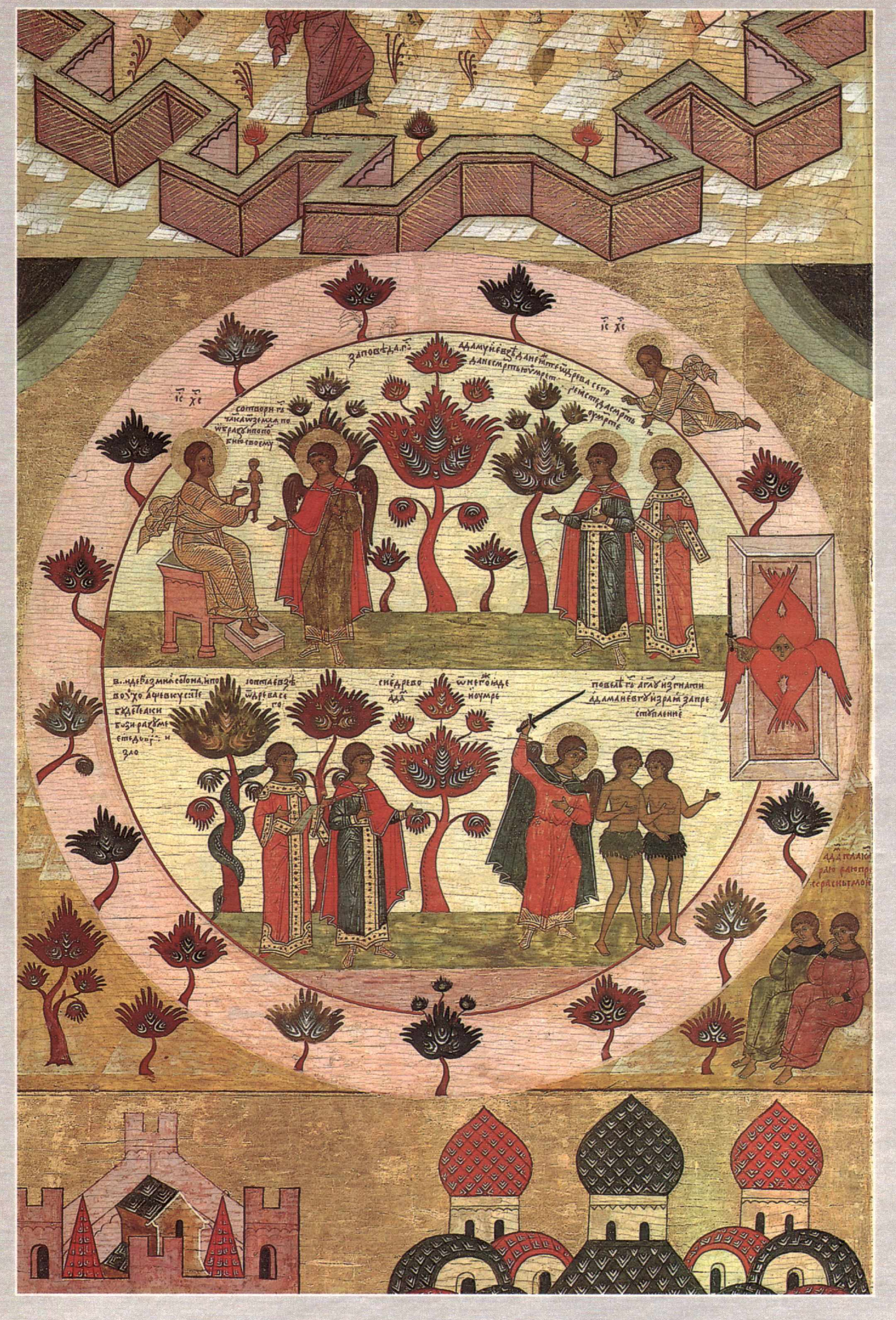
Троица Ветхозаветная. Конец XVI — начало XVII веков. Сольвычегодский историко-художественный музей. Реставратор С. Добрынин.

Саккос митрополита Ионы Сысоевича. 1665 год. Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник. Реставратор Н. Осмоловская.

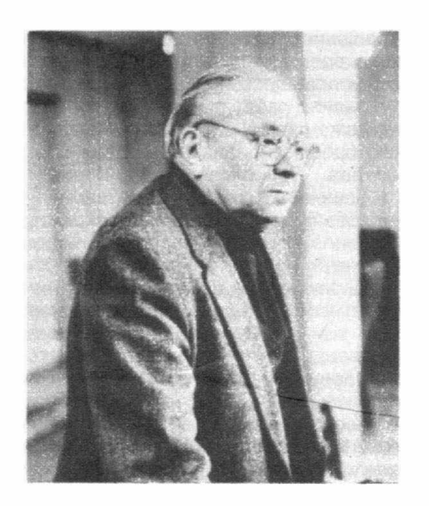




Богоматерь Неопалимая Купина. Свердловская картинная галерея. Реставратор Т. Милова.



Северная алтарная дверь с 3-частной композицией (фрагмент). 1570-е годы. Сольвычегодский историко-художественный музей. Реставратор Г. Цируль.



КОНЕЧНО, УСИЛИЯ ТЩЕТНЫ?..



С известными адвокатами-правозащитниками Диной КАМИНСКОЙ и Константином СИМИСОМ беседует специальный корреспондент «Огонька» Илья МИЛЬШТЕЙН

Юлий КИМ

АДВОКАТСКИЙ ВАЛЬС

С. В. Каллистратовой
Д. И. Каминской

Конечно, усилия тщетны,
и им не вдолбить ничего:
предметы для них беспредметны,
а белое просто черно.

Судье заодно с прокурором
плевать на детальный разбор.
Им лишь бы прикрыть разговором
готовый уже приговор.

Скорей всего надобно просто
просить Представительный Суд
дать меньше по 190-й,
чем то, что, конечно, дадут.

Откуда ж берется охота,
азарт, неподдельная страсть
машинам доказывать что-то,
властям корректировать власть?..

Серьезные, взрослые судьи,
седины, морщины, семья...
Какие же это орудья?
Такие же люди, как я.

И правда моя очевидна,
и белые нитки видать,
и людям должно же быть стыдно
таких же людей — не понять!

Ой, правое русское слово —
луч света в кромешной ночи!
И все будет вечно хреново...
И все же ты вечно звучи!
1968

Дина Каминская и Константин Симис — бывшие московские адвокаты, ныне проживающие в США.

Для обоих путь изгнания начался в 1966 году, когда они попытались защищать писателя Юлия Даниэля. Константину Симису в «допуске» было отказано сразу. Его жене Дине Каминской поставили условие: не просить об оправдании подсудимого. Она отказалась. Дело поручили другому адвокату. Принцип «революционного правосознания» был положен в основу всех без исключения политических процессов прошедшей эпохи.

Дина Каминская — один из немногих адвокатов (вспомним еще Софью Каллистратову, Бориса Золотухина), кто стремился противопоставить большевистскому правосознанию нормы цивилизованного суда.

Она защищала Владимира Буковского, Юрия Галанскова, Анатолия Марченко, Павла Литвинова, Ларису Богораз, Илью Габая. Лишенная «допуска», была отстранена от защиты Анатолия Щаранского, Александра Гинзбурга, Сергея Ковалева.

20 июня 1977 года исключена из коллегии адвокатов.

Константин Симис более десяти лет работал в Институте советского законодательства. А «в стол» писал книгу о коррупции в СССР. Впрочем, когда 16 ноября 1976 года в квартиру пришли с обыском, рукопись лежала прямо на столе. Отрицать свое авторство он счел унизительным. Из прокуратуры дело было передано в КГБ.

19 мая 1977 года Константина Симиса, лишив степеней и званий, выгнали из Института советского законодательства.

Их поставили перед выбором: разделить судьбу тех, за кого вступились, либо навсегда покинуть страну. Константину Симису «обещали» 70-ю статью (до 7 лет лагерей). Нетрудно предположить, что в недалеком будущем нечто подобное ожидало и его жену.

Они уехали.

Вскоре их голоса зазвучали на волнах радио «Свобода». В числе многих я слушал их в 80-е годы, пробиваясь сквозь вой глушилок к своему праву на свободу информации, выхватывая из эфира обрывки слов, угадывая громом и грохотом проглоченные фразы. Исполненные спокойного достоинства, голоса звучали убедительно, веско.

Как хотелось тогда спросить у них: что заставляет людей, ничуть не уверенных в том, что соотечественник хоть слово услышит, работать с таким блеском и мастерством?

Недавно Дина Каминская и Константин Симис были в Москве. И я получил возможность задать им этот и некоторые другие вопросы.

Дина Каминская. А как вы думаете, какие чувства испытывает советский адвокат образца 70-х, участвующий в политическом процессе и совершенно убежденный в том, что ничего в судьбе своего подзащитного изменить не сможет?

Константин Симис. Юлий Ким в старой своей песне это предельно точно выразил: «Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего...»

Дина Каминская. А тем не менее надо... драться. Безусловно, это вещи одного порядка: невозможность быть услышанным по радио и в зале судебного заседания. Помогает опыт. Годами адвокатской практики выработанная способность игнорировать «помехи». Целиком сосредоточиться на своей работе. Чувство личной ответственности, когда не ждешь ни наград, ни успеха, а просто честно выполняешь порученное тебе дело. Для меня в этом и заключается профессионализм.

— Чем для вас является работа на радио «Свобода»?

Константин Симис. Это возможность говорить со своей страной. Возможность говорить правду. Продолжение правозащитной деятельности.

Дина Каминская. Благодаря «Свободе» все прошедшие годы мы чувствовали себя причастными к тому, что происходило в стране.

— О чем вы говорите сегодня?

Константин Симис. Постепенно выявилась наша специализация — права человека. Это главное дело нашей жизни. Позже, когда я стал заниматься рабочим движением, и теперь, когда переключился на тему «американская демократия», проблема прав человека осталась самой важной и присутствует во всех моих выступлениях. То же самое можно сказать и о юридических обозрениях, которые ведет Д. И. Каминская, и о нашей совместной двадцатиминутной передаче «Закон и общество».

Дина Каминская. Юридический аспект сегодня, по-моему, особенно важен. Мы размышляем о становлении советской демократии, о действенности и бездействии закона — эта тема представляется основной...

— О чем вы вспоминаете, приехав на Родину после тринадцати лет эмиграции?

Константин Симис. О многом. О том, как уезжали, например.

Дина Каминская. Мы уже прошли таможенный досмотр, стояли у стойки. Вдруг к нам подходят сзади... как положено: «Пройдемте, пожалуйста». Заводят в кабинет. Сидит человек с седоватыми висками, очки в золотой оправе...

Константин Симис. ...желтое нездоровое лицо.

Дина Каминская. В штатском. Представился. Полковник КГБ. Начинает беседу. «Вот вы сейчас уезжаете. Хочу вас предупредить, Дина Исааковна, что никаких интервью за границей вам давать не следует. Хочу предостеречь и вас, Константин Михайлович, от публикации вашей книги».

Я взорвалась.

— Вы решили нас выпустить или нет?

— Мы решили вас выпустить.

— Тогда давайте прекратим этот разговор.

— Почему?

— Мне неинтересно.

И тут он произнес заранее заготовленную фразочку: «Учтите, что у нас длинные руки».

Напутствие окончилось.

— Вы всерьез восприняли эту угрозу?

Константин Симис. Нет, конечно. Мы прекрасно понимали, что не являемся для КГБ теми объектами, против которых они станут замышлять политическое убийство.

Дина Каминская. Это была абсолютно бессмысленная акция. Им просто хотелось нагадить нам напоследок. И они своего добились. Мы уезжали без всякого страха, но испытывали чувство... омерзения.

— Чувством омерзения, отвращения к произволу — естественным человеческим чувством — казалось, прониклись и те, кто управляет нами. Уже несколько лет мы являемся свидетелями серьезных законотворческих усилий, которые предпринимает государство, пытаясь привести наши законы в соответствие с нормами цивилизованного общества. К сожалению, нельзя не признать, что успехи руководства на этом поприще весьма скромны. Более того, процесс принятия иных законов сопровождается таким количеством нарушений, что поневоле начинаешь сомневаться в корректности самых необходимых законов. Я уж не говорю о том, что многие юридические решения, по существу, кажутся непродуманными или даже вызывают протест. Намеренно не конкретизирую вопрос, желая получить на него самый общий, теоретический ответ: отчего у нас так плохо с законностью?

Дина Каминская. Это весьма обширная тема. Я бы сузила ее до анализа правовой психологии «рядового советского человека». Судя по письмам читателей в редакции журналов и газет, которые я с большим вниманием читаю все перестроечные годы, правосознание советского человека не претерпело никаких изменений. Я бы даже употребила противоестественное сочетание — «антиправосознание». Оно свойственно разным социальным группам: интеллигенции, рабочим, партийным чиновникам, юристам, политикам... Я вижу в этом большую беду. Главная опасность, на мой взгляд, заключается в том, что к людям еще не пришло глубокое понимание значимости закона. Они всегда готовы пожертвовать правовыми принципами ради сиюминутной выгоды, ради политической конъюнктуры.

Простейший пример. В Верховном Совете СССР идет обсуждение какого-то очень важного закона. Уже после того как решение принято, один из депутатов обращает внимание собравшихся на то, что допущена ошибка: поправка принята с нарушением регламента. Ему тут же гневно возражает с места Р. Медведев (между прочим, демократ, человек культурный, образованный): дескать, страна ждет, а мы тут занимаемся юридическим крючкотворством! А ведь нарушение регламента — совсем не безобидная вещь и уж совсем не «крючкотворство» — это закон, который недавно тот же самый парламент утвердил! Конечно, его можно и не соблюдать... Все зависит от того, в каком обществе желает жить человек. Если в правовом, то закон соблюдать необходимо.

— Давайте вернемся на несколько лет назад, когда у нас только начинали принимать новые законы. Как бы вы оценили их теперь?

Дина Каминская. Знаете, я еще тогда утверждала, что они создают почву для последующих беззаконий, для правового нигилизма. Возьмем наиболее яркий пример — Закон об усилении борьбы с нетрудовыми доходами. Помните, как бедные юристы изощрялись, пытаясь найти хоть какое-то оправдание явно неправовому понятию — «нетрудовые доходы»? Этот закон не укладывается в идею права. Выигрыш в лотерею, на бегах, получение наследства — ведь это все формы нетрудовых доходов, за них нельзя преследовать. С другой стороны, кража, мошенничество, грабеж, взятка — это все формы преступных доходов, так их и следовало в законе именовать.

— Вероятно, можно говорить лишь о юридическом ляпе, ведь за участие в «Спортлото» по этому закону никого судить не собирались?

Константин Симис. Да, но «усиление борьбы» вылилось в грубейшие нарушения конституционных прав человека. У людей, совершавших дорогостоящие покупки, стали требовать отчета об их доходах. Помните эти страшные письма читателей, которые утверждали, что их достоинство никоим образом не будет оскорблено, если у них потребуют отчета о заработках, зато и к «богатым» удастся заглянуть в карман?.. Назывались и суммы, свыше которых любой доход объявлялся преступным и подлежал изъятию. Этот закон принимал еще доперестроечный парламент, но он ведь и сегодня не отменен, даже выдвигаются требования его «оживить», поскольку в последнее время, слава Богу, не применялся.

Так было расширено вмешательство государства в частную жизнь человека.

— Если не ошибаюсь, тот закон был направлен в первую очередь на «борьбу со спекуляцией»?

Константин Симис. С моей точки зрения, спекуляция не может являться уголовным преступлением. Разделение между производителем и посредником-продавцом человечество изобрело еще на заре цивилизации. Теперь это разделение труда пытаются, с одной стороны, поощрить, легализируя частнопредпринимательскую деятельность, а с другой — сохраняют закон, где посредников объявляют уголовниками.

Дина Каминская. Года полтора назад я читала большое интервью с С. С. Алексеевым. Он сказал: нельзя не признать, что у нас нет и не было цивилизованных законов. Это очень верная оценка. Причем я знаю юристов, которые ныне занимаются законотворчеством. Среди них есть очень неплохие нормативисты, умеющие писать законы. Тем не менее подготавливаются и принимаются такие антиконституционные законы (об индивидуальной трудовой деятельности; о кооперации; о собственности...), которые, похоже, с самого начала были обречены на то, чтобы их нарушали. Это очень опасная ситуация. Так окончательно подрывается уважение к праву и создается та атмосфера беззакония, которая меня сегодня просто пугает.

— Давайте вернемся к теме «антиправосознания». Для меня самая яркая и удручающая иллюстрация к ней — конфликт группы следователей во главе с Т. Гдляном с Прокуратурой СССР. Многое непонятно в этой истории — и драматической, и тягостной. Недавний внезапный арест следователя К. Пирцхалавы, как и скоропостижное его освобождение, лишь прибавило смуты, не внеся никакой ясности. Обращаясь к вашему огромному юридическому опыту, хочу спросить: что это, борьба коррумпированных государственных структур с отважными правдолюбцами или нечто иное?

Дина Каминская. Конечно, это расправа. Вероятно, можно утверждать, что, если бы Т. Гдлян и Н. Иванов не замахнулись на высокопоставленных московских чиновников, никакого «дела следователей» просто бы не существовало. У меня резко отрицательное отношение к акциям против них. Другое дело, что сегодня есть основание говорить, что и сами эти следователи не лучшие люди в системе правоохранительных органов.

Константин Симис. Они — типичные. Их действия во время следствия ничем не отличаются от действий других следователей по особо важным делам Прокуратуры СССР, да и следователей других уровней. Я уверен, что обвинения против группы Гдляна не лишены оснований, но сразу задаю себе вопрос: отчего же эти обвинения так неловко были предъявлены в тот самый момент, когда следователи начали работать с «московской мафией»?

Конструкция обвинения против Т. Гдляна и Н. Иванова не выдерживает серьезной критики. Например, возложить на них ответственность за то, что они с нарушением сроков содержали людей под стражей, нельзя. Они писали представление в прокуратуру, а не решали вопрос. А подписывали тот же самый Сухарев и его заместители, а до Сухарева — Рекунков. И если уж привлекать к ответственности за нарушения, то всех вместе, а не выборочно...

Дина Каминская. Меня в этой истории более всего возмущает тот факт, что волна обвинений против группы Гдляна пошла именно из прокуратуры. Вспомнили и старые его «грехи», дело Хинта. Обвинили его в жестокости: он не позволил подследственному даже проститься с умершей женой. Вы знаете, я за годы своей работы (между прочим, около 40 лет) не помню случая, чтобы в подобных обстоятельствах следователи или прокуроры проявляли гуманность.

Когда читала о деле Хинта, я вспомнила одну страшную историю из моей практики. Судили женщину. Она работала в винно-водочном магазине и продала «налево» три ящика коньяка. В отличие от многих попалась. В Бутырской тюрьме она родила больного ребенка. И врачи тюремной больницы (это редчайший случай!) обратились к следствию, а затем и к суду с просьбой о ее освобождении. Врачам отказали. Так ее и привозили в суд с этим несчастным, непрерывно кричащим синеньким комочком... Под этот крик суд вершил свое правое дело. Не выдержав, я обратилась к судье: «Если у вас нет сердца, так хоть поймите, что стыдно перед людьми!» Знаете, что он мне ответил? «Не могу ее отпустить, потому что я — человек гуманный. Все равно ведь ее сажать придется, так пусть не отвыкает от тюремной камеры!» Понимаете, они почти все такие.

Константин Симис. Кстати, те же самые высшие чины прокуратуры, что борются с Гдляном, выступают против сокращения обвиняемым срока содержания под стражей: мол, негоже забывать о правах потерпевшего и проявлять гуманизм к преступникам. Каким «преступникам»?! Речь ведь идет о людях, еще не осужденных!

— Часто приходится слышать: условия работы советского следователя таковы, что он просто вынужден нарушать закон, иначе ни одного дела не сможет расследовать, ни одного преступника не сумеет разоблачить.

Дина Каминская. Это вопрос сугубо профессиональный. Конечно, для того, чтобы расследовать дело, оставаясь в рамках законности, всегда требуется профессионализм. Гораздо легче работать, превышая свои законные права. По этой причине мне трудно судить о профессиональных качествах Гдляна и Иванова...

В 1965 году Верховный суд США принял знаменитое решение о «правиле исключения». Суть его в том, что если какое-то доказательство вины подсудимого полиция добывает с нарушением закона — допустим, без санкции суда проводит обыск, при этом находит склад наркотиков или труп,— то...

— Убийцу отпустят?!

Константин Симис. Да! Уже были такие случаи.

Дина Каминская. Этого доказательства не существует. Присяжные о нем даже не знают. Когда приняли это решение, полиция в ужасе была. Прошло время, и полицейским руководителям пришлось признать, что в таких условиях работать не только можно, но даже лучше! Это привело к повышению профессионального уровня следователей. В мотивировочной части этого решения было, кстати, замечательно объяснено, что если не исходить из «правила исключения», то у полиции не окажется побудительных причин соблюдать закон. Что добиться неукоснительного соблюдения законов можно лишь в том случае, если полицейские будут твердо знать: их усилия раскрыть преступление с нарушением закона бессмысленны.

— Какое счастье, что капитану Жеглову не пришлось служить в американской полиции. Но давайте продолжим сравнение советского законодательства с американским. Как с этой точки зрения вы бы оценили недавно принятый Закон о свободе совести?

Константин Симис. Я бы предпочел поговорить не о самом законе, но о способах его воплощения в жизнь. Беда, по-моему, в том, что как не было меры в воинствующем безбожии, так теперь нет меры в церковной эйфории. И в прессе, и на телевидении — восторженные сообщения: священник ведет урок! С возмущением пишут о том, что уроки прекращены.

Когда я рассказал об этом профессору конституционного права США, он пришел в ужас: это же нарушение правила отделения церкви от государства! В Америке группа родителей сразу же обратилась бы в суд, дело дошло бы до Верховного суда, и это не предположение — такие случаи известны. Этот принцип в США соблюдается весьма скрупулезно.

— Разве в Америке нет церковных школ?

Константин Симис. Конечно, есть. Но мы-то с вами говорим о государственной школе. Нельзя в государственной школе вводить курс какой-либо одной религии. В американских школах проводятся уроки по истории и теории мировых религий — согласитесь, это и полезно, и нужно. Но если бы вдруг стало известно, что методистская, баптистская, англиканская или католическая церковь «захватила» одну из государственных школ, был бы скандал неимоверный, на всю страну!

— Насколько мне известно, никто не заставляет наших школьников посещать эти уроки. И что же плохого, могут возразить вам, если ребенок добровольно ходит на уроки Закона Божьего?

Константин Симис. В США давно идет кампания за введение добровольной молитвы в школах. И Рейган, и Буш — горячие сторонники этого. Закон не проходит. Мне близки аргументы противников такого нововведения. Им не безразлична психология ребенка. Да, говорят они, ребенок может выйти из помещения, не участвовать в общей молитве. Но тогда он будет чувствовать себя отверженным. А те, кто останется, не веруя, но боясь одиночества или насмешек товарищей, могут вырасти конформистами... Словом, принцип отделения церкви от государства — совсем не схоластический принцип.

— Есть близкая проблема: «отделение» партии от государства. Мне интересно узнать ваше мнение по поводу Закона об общественных объединениях.

Дина Каминская. Это очень важный и нужный закон, но, к сожалению, не лишенный недостатков. Не решен главный вопрос: о деполитизации армии, КГБ и правоохранительных органов. Недавно я как раз читала в советской прессе возражения против деполитизации государственных структур. Автор, как ни странно, апеллировал к правам человека, считая, что деполитизация

неизбежно ограничивает политическую активность военнослужащих. Неправда. Когда офицер приходит со службы, снимает мундир и облачается в цивильную одежду, он волен участвовать в любом политическом движении. Никто не лишает его и права участия в выборах.

Константин Симис. Не станем лукавить: сегодняшние защитники политотделов имеют в виду только одну партию. Но если страна идет к реальной многопартийности, то почему одна партия должна быть «равнее» других? Это совершенно бредовая антиконституционная модель, которую защищают военные и аппаратчики, по-прежнему, к сожалению, руководящие страной.

— Одной из самых сложных правовых проблем представляется мне вопрос о смертной казни. В нашей прессе время от времени возникают дискуссии на эту тему, причем нетрудно заметить, что большинство сограждан — за смертную казнь. В США эта проблема также не решена: в одних штатах казнят, в других — закон это воспрещает. Как вы для себя решаете этот вопрос?

Дина Каминская. Я убежденный противник смертной казни. Считаю, что наказание преступнику может быть очень суровым, вплоть до пожизненного заключения, но только не смерть. Именем государства убивать нельзя. К тому же это бесполезно с точки зрения борьбы с преступностью. Хрестоматийный пример. В 1962 году Хрущев ввел смертную казнь за взяточничество и валютные преступления. Что, меньше стали брать взятки?

Константин Симис. Я не столь категоричен в своей оценке. Для меня лишь несомненно, что нельзя карать смертью за ненасильственные преступления. Что же касается жестоких убийств... Есть вполне определенное, очень естественное человеческое чувство, выраженное в словах: «Мне отмщение, и аз воздам». Чувство возмездия. И я не в силах отрешиться от этого чувства.

Дина Каминская. А помнишь, как ты смотрел по американскому телевидению передачу о смертной казни и что ты тогда сказал?

Константин Симис. Да. Речь шла о чудовищном преступлении. Убийцу приговорили к смерти. Казнили в тюрьме, ночью. Тюрьму окружила толпа. Наконец объявили о том, что казнь совершилась. Мне было глубоко омерзительно видеть взрыв ликования среди тех, кто требовал смерти. Тут у меня сработал инстинкт и покинуло чувство возмездия.

— Вам приходилось защищать убийц?

Дина Каминская. Да, и убийц, и насильников, и грабителей. Как ни странно это покажется, к большинству из них я даже испытывала сочувствие. Кстати, способность к сопереживанию я считаю одним из необходимейших качеств для адвоката.

— Вы бы взялись защищать убийцу отца Александра Меня, если бы он был найден?

Константин Симис. Скажите, может ли хирург отказаться оперировать человека, зная, что тот большой мерзавец? Мне кажется, это будет нарушением клятвы Гиппократа. Профессиональная помощь никогда не означает солидарность со взглядами и действиями подсудимого. Адвокат не вправе отказать в помощи любому человеку, который в ней нуждается.

— Вы бы взялись защищать Смирнова-Осташвили?

Дина Каминская. Разумеется.

Константин Симис. Конечно.

— Какие слова вы бы нашли в его защиту?

Константин Симис. Я бы говорил о том, что он в какой-то мере жертва растления. Жертва тех, кто сегодня раздувает националистическую истерию,— теоретиков-мракобесов, среди которых, к сожалению, немало писателей. Я бы защищал господина Осташвили с полной добросовестностью.

— Что бы вы сказали в защиту экс-генерала Калугина?

Дина Каминская. На мой взгляд, в хорошем адвокате нуждается Президент. Ну как же можно издавать Указ о лишении Калугина наград, когда по Конституции Президенту это право не предоставлено? Если это решение Горбачеву подсказал кто-либо из советников, так надо немедленно избавляться от такого советника! Дело тут не в Калугине. Из-за таких указов под угрозой авторитет Президента.

— При чем тут советники? Михаил Сергеевич по образованию юрист.

Константин Симис. Я помню годы, когда он учился на юрфаке, и знаю людей, которые его учили. Это было страшное для МГУ время успешного завершения борьбы с космополитизмом. Выгоняли не только евреев. Выгоняли вообще всех настоящих ученых и приличных людей. Это 50-е годы. Юрфак был захвачен бандой негодяев, проводивших эту кампанию борьбы с космополитами. И дело не только в том, что они были негодяями. Они были невеждами. Тут не вина, а беда Горбачева. Так что говорить о его юридических знаниях у нас еще меньше оснований, чем об адвокатских способностях Ленина. Хотя Ленин как раз получил настоящее юридическое образование.

— Какой вопрос я вам еще не задал?

Константин Симис. А спросите нас: вот вы почти всю жизнь занимаетесь правовыми проблемами — не чувствуете ли некую неуместность вашей деятельности в ситуации, когда страна на грани развала, людям нечего есть?.. Вопрос заслуживает внимания, не правда ли?

Дина Каминская. По-моему, это противопоставление некорректно само по себе. Экономический кризис, наступивший в стране, и кризис законности — две взаимосвязанные проблемы. Решить любую из экономических или межнациональных проблем, не установив в стране подлинную атмосферу законности, невозможно. Принцип законности — это не только соблюдение уже существующих законов. Это необходимость принятия таких законов, которые бы отражали насущные интересы людей, живущих в цивилизованном обществе.

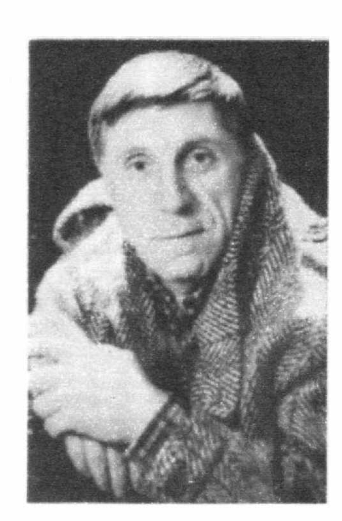
— Какая из законотворческих проблем вам представляется важнейшей?

Константин Симис. Проблема разграничения полномочий между федерацией и союзными республиками. Паралич закона, «война постановлений» во многом связаны с этой проблемой. Закон о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации мертв. Распределение компетенции между сторонами решается только соглашением субъектов федерации с Союзом, и никак иначе! Это должно определяться не законом, а Союзным договором. Между прочим, когда этот закон принимался, уже нетрудно было предугадать, что он обречен на невыполнение. Уже тогда ведь было ясно, что союзные республики вышли из повиновения, и если еще не начался «парад суверенитетов», то не за горами...

— Вы с надеждой смотрите в будущее страны или, «конечно, усилия тщетны»?..

Дина Каминская. Всю жизнь я относила себя к категории скептиков. Мне казалось, что выхода нет. Не могу сказать, что сейчас вижу этот выход. Но сегодня у меня появилась надежда. Я надеюсь на людей, которые работают в российском парламенте. Я внимательно изучала демократический проект Российской Конституции. Проект небезупречен, но я вижу в нем принципиально новый для советских законодателей подход к проблеме взаимоотношений личности и государства. Я вижу ясное стремление людей воплотить в жизнь мечты о построении правового государства. Очень бы этого хотелось.

Игорь КОХАНОВСКИЙ



СТАНСЫ

**Когда откроются архивы,
которым не дано сгореть,
те, что сегодня так крикливы,
не смогут нам в глаза смотреть.**

**А может, смогут, зная точно
из повседневных мелочей
масштабы линии поточной,
плодящей сонмы стукачей.**

**Грехи, сокрытые в анналах,
когда-то высветят сполна,
и гнусным сборищем фискалов
предстанет чуть не вся страна.**

**Сверхцель преступного режима —
так повязать режимом всех,
чтоб он без всякого нажима
всех запятнал, как свальный грех.**

**Вот и бессмысленны дебаты
о баловнях застойных лет.
Когда вокруг все виноваты,
то некому держать ответ.**

**Но это равенство — обманно,
в нем дышит давешний обман,
вещая обо всем туманно
и превращая все в туман.**

ПАРАФРАЗ

Кто был ничем, тот станет всем.
Э. ПОТЬЕ

**Кто был ничем, тому
и прошлого не жалко,
поэтому ему
и прошлое — что свалка.**

**Кто был ничем, тот всем
не стал ни в коем разе,
но стал опорой тем,
кто взмыл из грязи в князи.**

**Кто был ничем, тот им,
конечно, и остался,
но мы о том молчим,
чтоб он не трепыхался.**

БОЛЬШЕВИЧКА

**Двух февралей глухая перекличка,
безмолвье мразмолетия спустя.**

**...Усталая седая большевичка
оправдывает первого вождя.**

**Ее глаза по-старчески слезятся,
и жалок гнев в погаснувших
зрачках,
когда слова поблекшие струятся,
как стоки вод в бетонных желобах.**

**Ее неправоту разбить несложно,
сложней щадить ее в неправоте,
наркотиком, инъекцией подкожной
питавшей жизнь —
приведшей к слепоте.**

**Она не видит итог печальный —
она не видит страшное родство
для нынешнего с кривдой
изначальной,
таившей бесовщины торжество.**

**На склоне лет болезнь неизлечима
и тлеет, словно листья октября.**

**...Непоправимо и невыносимо
осознавать, что жизнь прожита зря.**

**Не потому ль так тянет
к оправданью
всего, что оправдать нельзя уже?
Не потому ль нет места покаянью
в больной, самообманутой душе?**

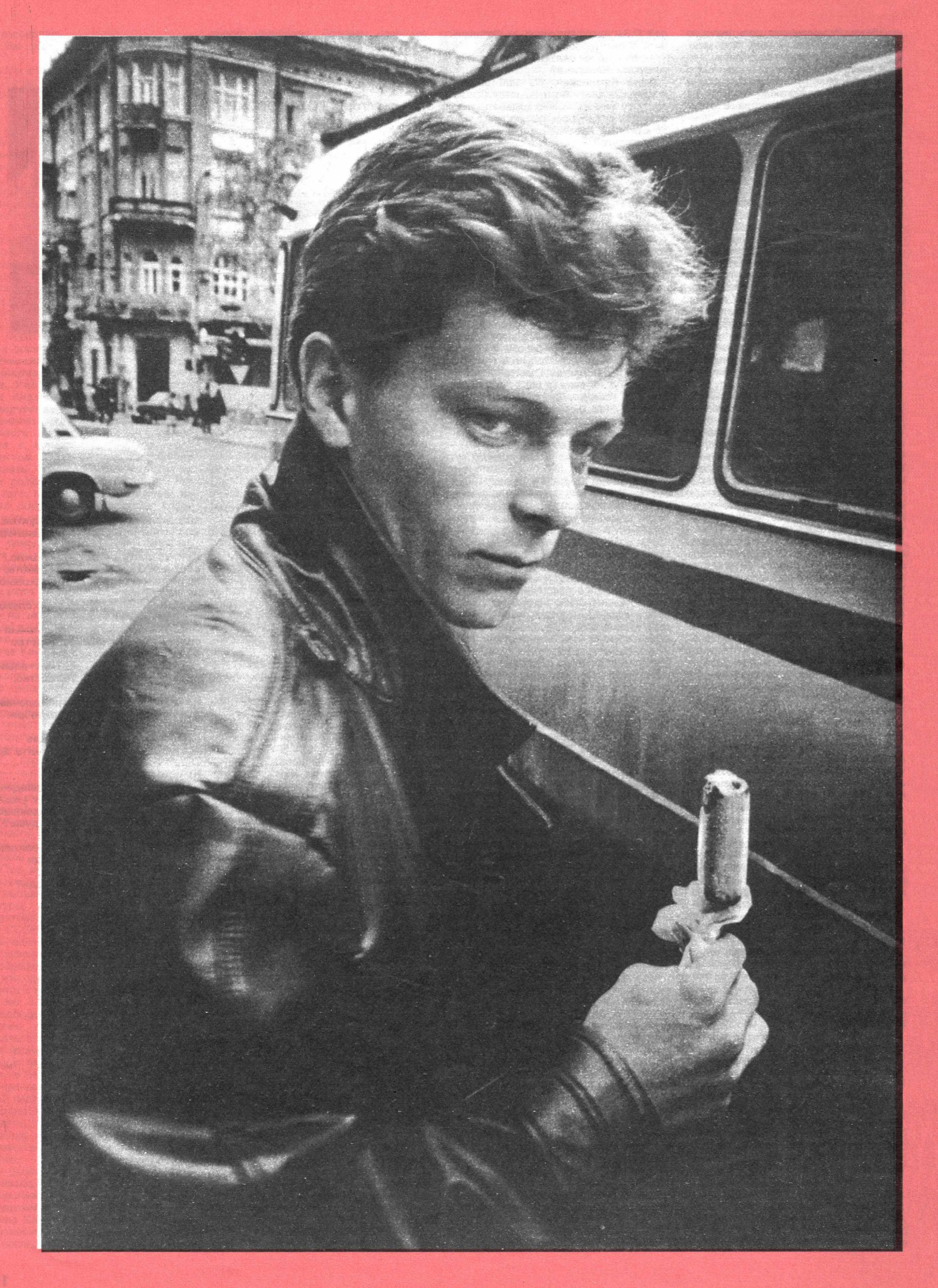
**Не потому ль готовы бить поклоны
перед иконой первого вождя
ее единоверцев миллионы,
лишь в этом утешенье находя?**

НАША ЭКОЛОГИЯ

**Дай мне терпенья, Боже,
выслушать гнев окраин,
душных окраин мысли,
темных окраин души.
Воздуха стало больше,
только он весь отравлен,
словно лагерной пылью,
гнилью мирской глуши.**

**Знаю, судить негоже
тех, кто и так бесправен,
кто в нужде окаянной
тянет свои гужи...
Воздуха стало больше,
только он весь отравлен
гнилью самообмана,
былью пустой души.**

**Буду терпим. И все же
брошу тем, с кем не равен,
с кем не найду подобий
помыслов и шагов...
Воздуха стало больше,
только он весь отравлен
гнилью былых утопий,
пылью пропащих годов.**







ФОТОКОНКУРС

Земля у нас одна

Фото:

Юрия Приютовского (Тирасполь),

Юрия Трунилова (Ленинград),

Юрия Коренько (Белгород),

Айвара Лиепиньша (Смоленск),

Владислава Запорожченко (Киев).







ОЛИМПИЙСКАЯ МАФИЯ или КУЛЬТУРА?

Мы привыкли к тому, что буквально с детского сада и до глубокой старости на нашем жизненном пути, помимо других указателей, стоят и особые столбы с воодушевляющими лозунгами типа «Духовное богатство и физическое совершенство...», «Все на старт ГТО!», «Физкультуру на новую высоту!» и так далее.

Бессмысленная, непродуманная гонка за так называемой высшей мышечной культурой порождает уродливые средства ее достижения.

Возьму на себя смелость утверждать, что сейчас большинство мировых рекордов по скоростно-силовым видам спорта представляют не что иное, как хорошо замаскированную и в то же время легальную фикцию, легенду о якобы природно-тренировочном уровне способностей человека. Объясню это на своем личном примере спортсмена-профессионала.

В 1979 году я был приглашен из Брянска в юниорскую сборную Узбекистана, и мне казалось, что моя «физика» (на спортивном языке это обозначает физические данные) и настойчивые тренировки позволят мне за три-четыре года пробиться в сборную страны. Наивно я полагал, что бог воздаст мне за упорство и целеустремленность. Но после двухлетнего катания по тренировочным сборам и участия в разного рода республиканских и всесоюзных соревнованиях я убедился, что «физика» и каторжный труд — это не главное в спорте.

Когда я, проживая в одних номерах гостиниц со старшими коллегами по команде, насмотрелся, как они по три раза в день заглатывали пригоршни всевозможных таблеток, когда я лично увидел, как матерые мои соперники прямо перед очередным крупным стартом делали себе инъекции в нескромные части нижних конечностей, я понял: что-то здесь нечисто...

Обратившись за вынужденной консультацией к своему тренеру, я узнал, что до сборной СССР должен дойти «чистым», т.е. без «химии», поскольку тренеры «наверху» более успешно работают с «чистым» мясом. Поэтому я начал с витаминов. Два десятка уколов витаминов группы «В», декамевит, ундевит, аэровит, аллохол, витамин «С», глюконат кальция, витамин «Е» — вот такие 2—3 курса в году повышали мою боевую готовность при первом тренере.

Когда по решению тренерского совета я перешел к уже заслуженному тренеру, список «витаминов» дополнился метанандростенолоном, рибоксином, метилурацилом, «лив-52», но заслуженный решился и на одноразовый химический эксперимент. После того как 20 таблеток «метана» стали «вязать» мне мышцы (сковывать их), он высказал предположение, что не всякому коню идет впрок такой корм. Дескать, надо пробовать что-то другое, о чем он, к сожалению, «не имеет понятия»... Он же несколько раскрыл мне глаза на то, что тренеры сборной СССР по легкой атлетике «химичат в полный рост» со своими спортсменами, но секреты фармакологии не распространяют.

Когда я увидел, что мой учитель знает не очень много, а самому мне не достать тех препаратов, я бросил институт и это дело, которое меня кормило, поило и давало возможность 2—3 раза в году загорать с такими же, как я, бездельниками на Черноморском побережье Кавказа.

Переехав в Москву и возобновив свои тренировки, я попал под крыло двукратной экс-рекордсменки мира по легкой атлетике, ставшей тренером.

В общении и тренировочной толчее с нашими олимпийцами, чемпионами мира, призерами международных соревнований мой спортивный лексикон дополнился такими «крылатыми» выражениями, как: «ни кефир и ни сметана не заменят нам «метана», «хочешь быть здоров, как слон,— ешь метанандростенолон!», «не страшна любая сила супротив «ретаболила»!», «хочешь быть, как лошадь, стройным — жри побольше утром «стромба» и так далее... Разговоры о допингах в раздевалках и душевых занимали второе место после секс-анекдотов и междугородного обзора цен на шмотки. Естественно, это и подливало масла в огонь самолюбия, и вынуждало многих не очень одаренных спортсменов восполнять бедность своих физиологических возможностей содержимым многочисленных ампул. Ходили слухи, что еще знаменитый финский стайер — олимпиец Лассе Вирен применял допинг кровью; что москвичи и спортсмены других городов успешно освоили допинг через вшитую в бедро или поясницу свежую плаценту, кото-

рая прекрасно впитывает все, что туда поступает...

А чтобы сердца известных спортсменов выдерживали бешеные нагрузки, из 4-го Аптекоуправления Кремля по блату и по подпольным каналам доставались такие дефицитные и нужные не только престарелому Политбюро, но и рвущимся к победам героям советского спорта препараты, как инозия-Ф, цитомак, «лив-52» и десятки других, названия которых я, к сожалению, не смог узнать у более опытных спортсменов.

Мой же очаровательный тренер водила меня два года за нос, обнадеживая: «Сашуля! Наши часы еще не пробили...» Но мастерские результаты уже не устраивали не только меня, но и руководство сборной. Я был готов пойти на все, лишь бы попасть в международный рейтинг... Однако приобретать необходимую «фарму» по баснословным ценам (одна ампула «винстрола» стоила, например, 50—70 руб.) было просто бессмысленно, не зная основной схемы «показаний к спортприменению». А потом, как мне объяснил товарищ по команде, наш тренер боялась меня посадить на иглу, так как я был в то время слишком общителен и разговорчив. Да и в общем-то ей вполне хватало тех «незапачканных» благ и званий, чтобы еще рисковать с каким-то Феськовым и ставить под сомнение свой многолетний триумф. К тому же я уже «не вписывался» в новую идиотскую реформу спорткомитета — закон возрастного ценза: если ты до 23 лет не «международник», то вешай шиповки на гвоздь.

А в это время начал практиковаться новый замысел корифеев легкоатлетической химиндустрии: бегуньям, прыгуньям и метательницам предлагали применять усиленную фармподготовку на фоне спланированной беременности. То есть, если девочки очень хотели зачать новый рекорд или приличный результат, они должны были вначале зачать (желательно от законного мужа) несчастного ребенка, который до определенного времени выполнял в организме юной матери функцию насоса, впитывающего, помимо материнских соков, анаболики и стероиды тренера. Когда мамаша заправляла свои мышечные баки нужным горючим, ребеночка, как героического солдатика, павшего во имя советского спорта и олимпийских идеалов, убивали и оплакивали...

Представительницы «тяжелой артиллерии», метатели и толкатели в это же время искали более естественные формы и методы заправки своих мускулистых танкеров мужскими гормонами...

Что было делать в такой атмосфере мне? Забеременеть и жадно всасывать в себя в это время анаболики я не мог в силу того, что был мужчина. Еще года полтора я надеялся, что фортуна все-таки повернется ко мне лицом, но, поняв, что на природных возможностях далеко не уедешь, а возможности достать «катализаторы здоровья» не предвиделось, я бросил окончательно спорт и стал рядовым физкультурным клерком.

А теперь я предлагаю особо сомневающимся читателям несколько убедительных примеров. Для начала вспомним мировые скандалы по поводу нечестной борьбы некоторых олимпийцев.

На Сеульской Олимпиаде потерпел крушение канадский спринтер Бэн Джонсон. Для неосведомленных читателей поясню, что допинговая комиссия обнаружила в его крови большое количество допинговых препаратов, после чего он был не только лишен золотой олимпийской медали, но и дисквалифицирован на два года. Кстати, в этом году Бэна «поднимут со дна»...

Знаменитый вратарь западногерманской «Баварии» Томми Шумахер стал еще более популярен в спортивном мире, когда своей чистосердечной исповедью, вышедшей отдельной книгой, поднял руку на воротил европейского футбола. Шумахер наделал много шума констатацией того, что он сам и его коллеги по команде подвергались инъекциям лошадиными дозами витаминов группы «В» и других «слоновых» препаратов. Наиболее лояльные страницы из этой книги представил вниманию советской общественности наш «Советский спорт».

Недавнее сенсационное разоблачение подпольного главаря хорошо организованной международной спортбанды по торговле анаболическими стероидами Дэвида Дженкинса. Он был, что говорится, пойман за руку при спекуляции всевозможными допинговыми средствами, в число которых, между прочим, входили и ампулы с обыкновенной дистиллированной водой, но с фирменными наклейками... Дженкинс, до этого времени известный любителям «королевы спорта» как чемпион Европы в беге на 400 метров, предстал перед судом как рекордсмен теневого спортивного бизнеса. На суде этот единственный из «большого» спорта Англии претендент на тюремную баланду заявил, что сегодня 90% членов национальных олимпийских команд применяют стероиды и психостимуляторы! Лично я ему охотно верю. Далее Дэвид сказал, что современные допинговые комиссии — это дохлые зайцы, пытающиеся уличить львов в том, что они — звери...

Ну и, наконец, самые последние, уже декабрьские, разоблачения спортсменов бывшей ГДР, а ныне объединенной Германии. Журналу «Штерн» удалось добыть секретные графики (кстати, они уже были подготовлены к уничтожению), по которым ведущим, выдающимся, многократным и т. д. чемпионам вкалывали самые наисовременнейшие трудноуловимые допинги. На это работал целый институт. Разразился грандиозный скандал, и, как говорят, в ближайшее время многие мировые рекорды по самым разным видам спорта, установленные спортсменами ГДР, будут аннулированы. Кстати, замечу, мало кто в мире сомневался, что на восточных немецких спортсменов работает целая государственная фарминдустрия. Всем было абсолютно ясно, что грандиозные успехи в спорте восточных немцев, демонстрирующие преимущества социализма, основаны на химии. После объединения Германии очень скоро появились убедительные доказательства этой общеизвестной тайны.

Теперь вернемся к нашим отечественным примерам.

Провал Татьяны Казанкиной — кавалера ордена Ленина на вроде бы непрестижных зимних соревнованиях во Франции в 1984 году. Там дотошные французы взяли под сомнение заурядный результат непобедимой «Совьетико-Татьяны», едва превышающий норму обычного мастера спорта СССР. Когда наша олимпийская чемпионка решила избежать прямого разоблачения отказом допинг-контроля, французы любезно отбили телегу в спорткомитет СССР, поскольку по международным правилам отказ является подтверждением того, что спортсменка применяла допинг. Наша пресса замолчала этот эпизод.

А небезызвестный инцидент с ядротолкателем Александром Багачем? А скандал с нашими тяжелоатлетами? А дисквалификация прыгуньи Татьяны Быковой?.. Примеров, когда наших спортсменов ловили на допинг-контроле, более чем достаточно, чтобы попробовать поискать и в нашей стране особый секретный институт, где с помощью «химии» делают рекорды.

Интервью в «Юности» с Ю. П. Власовым, предпенсионные «показания» нашего первого прыжкового космонавта Валерия Брумеля, невеселые воспоминания сломанного короля Московской Олимпиады Киселева (журнал «Легкая атлетика») и многое другое говорит о том, что в скором времени у нас появится реальная надежда предотвратить всеобщую дебилизацию. Хотя и спортсмены, и их слепые поклонники прекрасно понимают, что просто так за какие-то два-три года остановить международную махину олимпийской мафии невозможно.

Какие воры признаются во всеуслышание, что они — воры? Какие взяточники придут в детдома и нищие семьи строителей коммунизма и раздадут свое добро? Точно так же и дельцы от теневой спортэкономики без боя не сдадут свои привилегии. А терять им, поверьте, есть что. Это и бесплатная экипировка лучшими изделиями первоклассных фирм, и дармовое высококалорийное питание, и возможности сопровождать свои команды в дальние страны.

У многих читателей может возникнуть ограниченное представление о сфере применения анаболиков и психостимуляторов. Не хочу огульно клеймить честных людей, это мое субъективное предположение. О видах, в которых применяется допинг: плавание, конькобежный спорт, лыжные гонки, тяжелая атлетика, все виды борьбы, бокс, гребля в любых разновидностях, гимнастика (в большей степени мужская, но из женской практики известно, что многие тренеры используют «химию», чтобы их воспитанницы не развивались слишком быстро).

Мне хотелось бы заставить задуматься всех здравомыслящих людей еще вот о чем.

То, что на анаболиках и психостимуляторах зиждутся многие спортивные победы,— это полбеды. Но когда организм спортсмена работает на чужеродных химических продуктах, когда злоупотребление химическими препаратами в спорте растет от рекорда к рекорду, то, вероятно, не останется прежней и генетическая структура тех, кто к этому причастен? А поскольку сейчас даже детей в специализированных ДЮСШ начинают приучать к принятию «химии», то страшно подумать, что будет со следующими поколениями спортсменов? Неужели они с раннего детства будут обречены на подспудное генетическое одебиливание?

Пока же существует, точнее, процветает рекордизм и «научно обоснованная»... спекуляция государства мышечным сырьем своего народа в корыстных политических целях, я смею предположить, что мы никогда не придем к единству таких избитых и затюканных вечных понятий, как «духовная красота» и «физическое совершенство».

Хотелось выразить надежду, что на мои размышления о черной перспективе олимпийского движения откликнутся и уважающие свою духовную честь спортсмены, и порядочные тренеры, и специалисты-фармакологи, и раскаявшиеся бывшие заправилы спортивных обществ, а также все те, в чьих жилах течет настоящая человеческая кровь, а не смеси из 4-го Управления Минздрава СССР или местных закрытых аптек.

Александр ФЕСЬКОВ,
мастер спорта СССР.

Фото Анатолия БОЧИНИНА



СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ

Евгений ЕВТУШЕНКО

ПЛАЧ ПО ЦЕНЗУРЕ

В последнее время чего-то мне недостает. Тоскую. Стыдно признаться по кому — по цензуре.

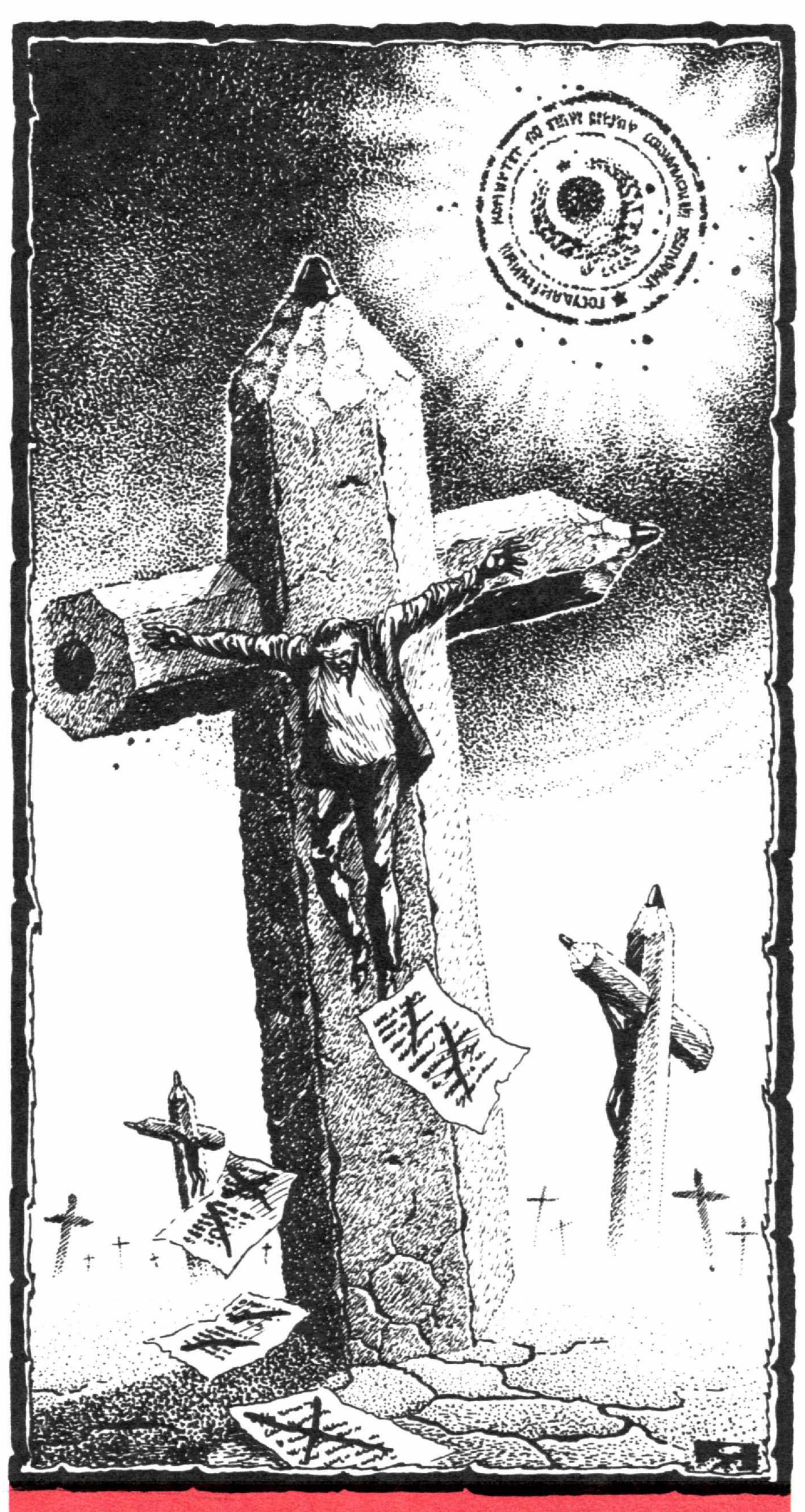


Рисунок Алексея МЕРИНОВА.

НАПИЛЬНИК В ЯБЛОЧНОМ ПИРОГЕ

Конечно, те, кто ловит, и те, кого ловят,— враги. Но разве и писатели, и цензоры не были заключенными одного огромного концлагеря? Разве сегодня, в странном, непривычном для нас бесцензурье, можно найти таких же пристальных, вдумчивых, чутких к любым нюансам читателей, как цензоры? Разве нас, писателей, не возвеличивал не только в читательских, но и в собственных глазах тот факт, что цензура считала столь опасными для государства метафоры, эпитеты, рифмы? С какой тонкостью цензура разгадывала политические намеки внутри кружевной стихотворной вязи, похожей на детские картинки-загадки, где контуры охотника с ружьем искусно спрятаны в переплетениях ветвей нарисованного леса! С какой саперской слуховой обостренностью цензура улавливала тиканье взрывных механизмов внутри ямбов и хореев, с какой хирургической элегантностью удаляла динамит из сонетов!

Русское печатное слово почти не знало бесцензурного времени — ни до, ни после революции. Как же тогда выжила русская литература? Как же все-таки, даже в самые тяжелые времена, иногда ухитрялись пробиваться сквозь цензуру романы и стихи, казалось бы, не влезающие ни в какие ворота? А так же — как иногда рыбы каким-то чудом проходят вместе с водой между лопастями турбин. Русская цензура была подобна гармошке, когда ее складки туго сжимались, то строчки стихов трепыхались, как бабочки, стиснутые между ладов. Но стоило этим складкам лишь на мгновение разжаться, бабочки, только что казавшиеся мертвыми, выпархивали в воздух. Царская цензура в конце XIX века и начале XX подприустала, подослепла, начала либерализоваться, но все-таки существовала, как дряхлый цепной пес, старающийся доказать свою верность, несмотря на беззубость. Первое российское полное бесцензурье было коротеньким отрезком времени между февральской революцией 1917-го и 1918 годом. Царская цензура, старенькая, подагрическая, размякшая, уступила место новой цензуре — молодой и жестокой.

Исторической закономерностью явился тот факт, что первой жертвой большевистской цензуры стал Горький, поддерживавший большевиков до революции и морально, и экономически. Была пущена под нож часть тиража его книги политических эссе «Несвоевременные мысли», где он выступал против насилия и жестокостей революции. Новая власть ясно дала понять, что она, наученная опытом царской власти, не позволит никаких высказываний против самой себя. Цензура двадцатых годов распространялась еще только на политическое содержание, не затрагивая форму искусства. Авангард пошел на компромисс содержания за то, что власть давала ему свободу формы, и этим компромиссом подписал себе смертный приговор. В тридцатых годах плазма серости, единообразия, растекаясь по всему гигантскому пространству страны, постепенно всосала в себя не только содержание, но и форму. Авангард погиб вместе со многими авангардистами, которые были замучены в лагерях или брошены в нищету и безвестность. Форма официального искусства стала такой же, как содержание,— помпезной, то́ртовой. На любую печатную продукцию, включая почтовые открытки, афиши футбольных матчей или концертов, нужен был разрешительный штамп цензуры. Редакторы прекрасно знали, что можно, что нельзя, и в безнадежных случаях дело до цензуры даже не доводили — сами были предцензорами. Самым безнадежным случаем и до революции, и после была статья «Философические письма» духовного учителя Пушкина — Петра Чаадаева, написанная в 1831 году, а впервые разрешенная царской цензурой лишь в 1914-м. А соизволения советской цензуры этой книге пришлось ждать с 1917 по 1987 год. Я был свидетелем того, как в шестидесятых годах советская цензура пыталась вымарать из спектакля Театра на Таганке сатирические стихи Пушкина о царской цензуре. Беспощадно вымарывались даже цитаты из Маркса, Энгельса, Ленина, если они стояли в контексте, замаскированно критикующем не конкретные частности, а систему.

Если цензура сталинского времени была топорной — и действительно орудовала не слишком тонкими инструментами, то цензура послесталинская стала гораздо изощренней и действовала при помощи целой системы микроскопов, луп, идеологических сканнеров, скальпелей, ланцетов, пинцетов. В повышении читательской культуры цензоров прежде всего повинны поэты моего поколения. Сначала мы легко обманывали цензоров названиями стихов, якобы переносящими действие в капиталистическую обстановку: «Монолог битника», «Монолог голубого песца на аляскинской звероферме», «Монолог американского поэта», «Монолог бродвейской актрисы»... Мы уходили внутрь истории, и наши исторические персонажи, надевая либо посконную рубаху Стеньки Разина, либо черное платье с белым воротничком народоволки Веры Фигнер, либо даже студенческую форму Казанского университета, выкрикивали нашу современную боль. Но наши цензоры постепенно разгадали нас. Их любимым словом стало слово «аллюзия», произносимое ими со сладострастным триумфальным чувством тюремщика, угадавшего напильник для тюремной решетки, запеченный в яблочный пирог.

КУИНДЖИ И ПЕВЧИЕ ПТИЧКИ

Иезуитство цензуры было утонченным.

В 1964 году весьма далекий от либерализма редактор журнала «Знамя» В. Кожевников показал мне верстку номера с моими стихами, испещренную чьим-то красным карандашом. Я спро-

сил его: «Это Главлит?» Он отрицательно покачал головой и поднял свой карандаш вверх, указывая мне уровень явно повыше Главлита. Очевидно, Кожевникову хотелось выглядеть хотя бы в данном случае приличным человеком.

«Если хочешь спасти стихи, иди к Ильичеву,— сказал он.— Жалуйся на меня». Я понял, что все карандашные пометки принадлежат не рядовым цензорам, а самому секретарю партии по идеологии. Про него тогда ходила такая частушка: «Начинается все снова, снова рубят все сплеча. Слишком много Ильичева, слишком мало Ильича»... Я пришел на прием к Ильичеву и положил перед ним верстку, возмущаясь держимордизмом главного редактора «Знамени», как он меня о том и попросил. Для Кожевникова это было безопасно — за держимордизм еще никого не снимали. Ильичев взял в руки верстку, как будто не его пометки красным карандашом стояли тут и там, стал внимательно читать, выражая междометиями свое восхищение отдельными строчками. Кончив читать этот стихотворный цикл, он глубоко вздохнул, сморщил лысенький лоб и взглянул на меня жирными бегающими глазками поверх очков, сползших на коротенький поблескивающий нос.

— Плохо матросику, ой, как плохо...— вдруг замотал он головой, чуть не всхлипывая и испытующе сверля меня взглядом.

— Какому матросику? — недоуменно переспросил я.

— Как это — какому? Вашему матросику, вашему...— И Ильичев ткнул пальцем в стихотворение «Граждане, послушайте меня».— Вот он, ваш матросик, Евгений Александрович, сидит одинокенький, никому не нужный на палубе и песню под гитару поет... А его никто не слушает, Евгений Александрович, никтошеньки... Ведь я тоже матросиком был когда-то, поглядите...— И секретарь Центрального Комитета по идеологии протянул мне над зеленым бильярдным сукном государственного стола крепенький кулачок, заросший рыжим волосом, на котором была полусведенная, но все-таки заметная татуировка. Ильичев вскочил и лихорадочно заходил вокруг меня быстрыми шажками полненького, но крепенького человечка:— А матросик-то ваш, Евгений Александрович, на кораблике едет. И кораблик-то это не простой, а «Фридрих Энгельс» называется. А что на этом кораблике у вас творится? Все водку пьют, или в карты играют, или танцуют — а на матросика несчастного ноль внимания. Это ж все до символа, Евгений Александрович, вырастает, до символа... Корабль — это наша страна. Толпа на корабле, водку, пардон, хлещущая,— это наш русский народ. А матросик несчастненький — это вы, Евгений Александрович. А какой же вы несчастный, что же вы такое фантазируете! И кто вас несчастным-то сделал — уж не Советская ли власть?

Ильичев остановил свое беганье вокруг меня, сел и подвинул ко мне уже остывший стакан чаю и вазочку с сушками:

— Да вы не стесняйтесь... Отведайте наших партийных сушечек... Евгений Александрович, вы, конечно, знаете художника Куинджи. У меня в моей скромной коллекции, кстати, есть одно его полотно. Ну, мою коллекцию с вашей не сравнишь. Наслышан, наслышан. А вот знаете ли вы о том, что он был к тому же знаменитым птичьим лекарем? Бывает, начнет какая-нибудь певчая птичка, в неволе затосковав, из клеточки продираться и повредит себе крылышко... Несладко ведь песни-то петь в неволе, Евгений Александрович, ох, как несладко... Я ведь тоже здесь, в кабинете этом, как в клетке. Да что обо мне. Так вот многим певчим птичкам Куинджи или крылышки спасал, или косточки вправлял, или травяным настоем птичек отпаивал, ежели у них горлышко побаливало. А когда умер Куинджи, то, говорят, владельцы вылеченных им певчих птичек пришли на его похороны с клетками, открыли их, и все птицы сели на гроб художника и запели свою прощальную благодарную песню.

Ильичев перегнулся ко мне через стол и, перекошенно улыбаясь, почти зашептал, да так, что я невольно отшатнулся:

— А когда я умру, Евгений Александрович, разве какие-нибудь певчие птички помянут меня своей песней? Так кто же из нас — несчастный матросик, Евгений Александрович, вы или я? А?

Ильичев устало откинулся на спинку стула, закрыл глаза и чуть застонал. И когда снова открыл глаза — они были энергичные, собранные, деловые. Рыжеволосая рука с татуировкой перепасовала мне мою верстку. Голос был будничный, рабочий:

— С Кожевниковым мы разберемся, Евгений Александрович. Засиделся он в своем редакторском кресле, засиделся. Только вы уж мне сами помогите напечатать эти стихи. Ну, придумайте другое название для корабля вместо «Фридрих Энгельс».

Ильичев захихикал, заелозил на стуле, стараясь меня подкупить своим садомазохистским юморком:

— Только не «Карл Маркс»... А то снимут не Кожевникова, а меня.

Какие тонкие у нас, русских поэтов, были читатели! Не дай Бог, если они вернутся.

ЧЕРТОВЩИНА

Я начал печатать стихи в 1949 году в газете «Советский спорт» и никакой опасности для цензуры тогда не представлял. Мое первое опубликованное стихотворение, «Два спорта», представляло собой «разоблачение» нравов буржуазных спортсменов. «Здоровье допингом вынувши, спортсмену приходится там тело свое до финиша тащить в угоду дельцам». Я был вполне лояльным советским пионером, несмотря на то, что оба мои дедушки были арестованы еще до войны, и с воодушевлением пел в школьном хоре: «Сталин — наша слава боевая, Сталин — наша гордость и полет. С песнями, борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет». Однако сейчас, перелистывая мои тогдашние тетрадочки в косую линейку или в клеточку, как ни странно, я нахожу в своих детских допечатных стихах имена Магеллана, Уленшпигеля, Киплинга, Маяковского, но не Сталина.

Имя Сталина стало возникать в моих стихах как редакционное условие напечатания. 17 июля 1949 года, во Всесоюзный день физкультурника, я раскрыл газету «Советский спорт» и увидел, что в мое праздничное стихотворение чьей-то рукой вписана не принадлежавшая мне строфа: «Открыты пред нами грядущие дали, и в светлый простор голубой вождь и учитель великий Сталин нас ведет за собой!» Я с возмущением ринулся в редакцию, размахивая газетой. Однако «открывший» меня мой редакционный покровитель — журналист и поэт Николай Тарасов ласково объяснил мне, что редактор хотел снять стихи, потому что там не было упоминания товарища Сталина, а по неписаным законам праздничных номеров газет так не полагалось. Тогда он, Тарасов, и сочинил за меня четверостишие, чтобы я себе «не портил руку». В 1950 году литконсультант газеты «Труд» поэт Лев Озеров вписал в мое стихотворение, напечатанное в подборке «Творчество трудящихся», следующие строки: «Знаем, верим — будет сделано, зданье коммуны будет поставлено, то, что строилось нашим Лениным, то, что строится нашим Сталиным». Я этих поэтов ни в чем не обвиняю. Время тогда было паскудное. Увидев совсем наивного, но не без способностей вихрастого верзилу, похожего на зелененькую стрелку лука, проткнувшую кучу навоза, более старшие поэты, никакие не сталинисты, этими вписанными строчками о Сталине хотели помочь мне пробиться, выжить во время опасно затянувшейся агонии сталинского режима.

Было три типа цензуры — цензура непечатанием, цензура вычеркиванием и цензура вписыванием. Иногда вписывали руками авторов, а иногда и собственными. Редактура была предбанником цензуры.

Воспитание детей, сводившееся к идеологическому пичканью, было первой цензурой, начинавшейся уже с яслей. Цензура была не только государственным учреждением, а государственным воздухом. Наше поколение не испытало блаженного неведения — что можно, а что нельзя. После смерти Сталина многие гигантские железобетонные «нельзя» начали разрушаться, а крошечное «можно» или неожиданно раздувалось, как воздушный шар с ненадежно тонкими стенками, или лопалось от первого прокола и съеживалось. В некоторых руководящих и неруководящих головах образовалась путаница, несуразица, чертовщина.

«НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ, НО ЖЕНИСЬ, КАК АДЖУБЕЙ!»

Такая завистливенькая эпиграмма ходила про зятя Хрущева — Алексея Аджубея, сделавшего головокружительную блицкарьеру от сотрудника военно-физкультурного отдела «Комсомолки» до члена ЦК, редактора «Известий». Про него ходило много слухов — о том, что он, встретив Раду, бросил невесту, что Хрущев однажды за семейным обедом, увидев золотые часы на руке зятя, резко сказал: «Не люблю мужчин с золотыми часами»,— и вышел из-за стола, а Аджубей, приехав в редакцию, напился и рычал: «Ненавижу!» Но я верю только личным наблюдениям, а не слухам. Почему, собственно, нельзя было полюбить дочь Хрущева не за то, что она — его дочь, а за то, что она достойная женщина? И кто знает, что на самом деле говорил ему Хрущев за семейным обедом? Аджубей был способным журналистом, и мне кажется, что положение «зятя Хрущева» помешало его карьере быть стабильной. Я заметил, что чем выше он начал подниматься, тем больше из него выплескивалась кипящая внутри нервозная самоуверенность, и его мысли причудливо выпрыгивали и лопались на поверхности, как набегающие один на другой пузыри пляшущего кипятка.

В моей чудом уцелевшей клеенчатой тетради с записями хрущевского периода есть одна зафиксированная беседа с Аджубеем — в его срединной ипостаси — в должности члена редколлегии «Комсомолки» по отделу литературы и искусств. Я принес невинное лирическое стихотворение о поездке с любимой девушкой на речном трамвае. В стихотворении был легкий иронический пассаж о том, как скучающие пассажиры в темных очках с белыми оправами бросали в Москву-реку пустые бумажные стаканчики из-под мороженого. Могу задним числом поклясться, что никаких политических «подтекстов» в стихотворении не было. Но вот каким воистину кафкианским монологом разразился неудержимо рвущийся куда-то в партийные заоблачные выси будущий редактор «Известий», нацеленно швыряя в меня голубые булыжники глаз из-под колосистых рыжих бровей:

— Женя, это не просто плохое стихотворение. Это политическая ошибка. Что за ссора с любимой девушкой на пароходе? Мелко... Где общественная польза? Да, мы ортодоксальны, но на том, как говорится, стоим и стоять будем. О чем вы все, молодые поэты, сейчас пишете, когда вокруг идет такая борьба! Что это за бумажные стаканчики? Зачем тебе эта деталь? К чему ты призываешь — чтобы все кидали бумажные стаканчики с каждого парохода? Тогда всю Москву-реку засорят! И вот еще одна двусмысленная деталь — темные очки в белых оправах. Женя, ты знаешь, где здание ЦК? Ну так вот, представь, что из здания ЦК один за другим выходят люди — все именно в таких очках. Не можешь представить, не правда ли? А, скажем, в двадцать пятом году, на заре социализма, трудно было бы представить, чтобы из этого же здания ЦК выходили люди — все сплошь в галстуках и пиджаках. Женя, поверь, я не принадлежу к тем ханжам, которые говорят, что темные очки — это пижонство. Нет, они полезны, предохраняют от морщин. Но понимаешь, Женя, сейчас они еще не вошли в наш советский быт — это принадлежность какого-то узкого мирка. Зачем же об этом писать? Один крупный товарищ (не буду называть его фамилию) недавно был в Венгрии в наших отечественных очках. Ему сказали, что такие очки там носили в двадцатых годах. Хорошо еще он не растерялся и с присущим ему народным остроумием сказал, что эти очки у него остались именно с тех пор. Если у нас еще не освоили производство очков как следует, то зачем же глумиться над нашими недостатками, Женя? Нет, я всерьез озабочен некоторыми тенденциями в твоем творчестве. Мы — за лирику, но за ту лирику, которая нам строить и жить помогает. Будь бы кто-нибудь другой на моем месте, Женя, взял бы он копию этого стихотворения да и отнес твоим доброжелателям в кавычках. А я — твой истинный доброжелатель, так что спрячь свой опус, не высовывайся с ним...

В каком-то смысле этот монолог — исторический, ибо только кровавая история нашей страны могла так изуродовать человеческое мышление, превратить его в такую политическую неврастению, в такую припадочную самоуверенность при полной неуверенности, в такую мешанину страхов, опасок, оглядок, приправленную ханжеской дидактикой. Это не сам человек говорил, а все его тысячи страхов, сидящие в нем. Он понимал, что близость к первому человеку государства, давая ему временные неограниченные возможности, обрекала его рано или поздно на мстительность завистников. Именно это сознание обреченности бесило его, отупляло постоянным свербением, несмотря на временное наркотическое опьянение собственным кажущимся всемогуществом. Как было все перепутано в этом человеке! Уж вы не обессудьте, Алексей Иванович, что вытащил я эту старенькую тетрадку и воспроизвел разговор, в ней записанный и вами наверняка забытый. Делаю я это совсем не для того, чтобы обидеть вас, унизить в чьих-то глазах, а потому, что стенограмма нашей психологии — это тоже история, которую нельзя приукрашивать.

В фильме «Похороны Сталина» я привожу собственные стихи о врачах-убийцах, и, к счастью, ненапечатанные. Но я думаю, что эти позорные стихи, как стенограмма моей тогдашней психологии, будут необходимым историческим документом для потомков, чтобы они снова не впали в наш психоз, в нашу слепоту. Сейчас, после стольского пережитого, вы, конечно, стали другим. И я стал другим, но когда-то и во мне было все перепутано, как в вас.

Среди тех, кто вырос в сталинскую эру, неискалеченных не было.

АХ ТЫ, СУКА РОМАНТИКА

На Братской ГЭС в 1964 году я услышал такую частушку:

Ах ты, сука романтика,
ах ты, блядская ГЭС.
Я приехала с бантиком,
а осталась без.

Надо довести людей до того, чтобы романтику они назвали сукой. Меня тоже столько лет доводили до того, чтобы я возненавидел романтику. Я ей тоже верил, а она меня все время тыкала носом в дерьмо. Революционная романтика, в которой нас воспитывали, жестоко предавала тех, кто ей был предан всей душой. Циникам было легче.

Дитя сталинской эры, я был мешаным-перемешаным существом, и во мне уживались и революционная романтика, и звериный инстинкт выживания, и преданность поэзии, и халтурмейстерское графоманство. Одной и той же рукой я писал уже настоящие стихи: «Вагон», «Перед встречей», «Зависть», «Свадьба» — и в то же время откровенную халтуру ради денег и собственной фамилии на видном месте в газете. Как я написал в своей «Преждевременной автобиографии» — «невинная ребяческая забава грозила незаметно перейти в саморастление». Образовалась причудливая смесь из обожания поэзии и легкомысленных предательств поэзии на каждом шагу.

Я долго еще выкарабкивался из дурных привычек газетного мальчишки — поэта, воспитанника сталинюгенда. Но и тогда во мне теплилось нечто совсем другое, правдоискательское, что ли. Ведь еще в 1952 году параллельно с одами Сталину я писал: «Не надо говорить неправду детям, не надо их в неправде убеждать. Не надо уверять их, что на свете лишь тишь да гладь да божья благодать». Моя юношеская душа была полем борьбы зла и добра нашей эпохи, и зло во мне иногда побеждало, как десант чужих, до зубов вооруженных микробов, попав на благодатную для зла почву наивного революционного романтизма. Но все-таки романтизм мой был самый искренний и поэтому раздражал тех, для кого он был лишь красивым прикрытием их цинической сущности.

Первый удар по моему романтизму был нанесен, когда ЦК ВЛКСМ возглавлял будущий шеф КГБ Александр Шелепин, по прозвищу «Железный Шурик». Он разгромил и попытался выдрать из 1-го номера журнала «Молодая гвардия» в 1956 году цикл моих неореволюционных стихов, призывавших к очищению идеалов Октябрьской революции. Я растерялся — почему комсомол, который, казалось бы, должен был поддержать меня за мой романтизм, набросился сначала на эти стихи, затем в 1957 году на поэму «Станция Зима» и в 1962-м на мою идеалистическую, полную самых благих намерений «Преждевременную автобиографию», обозвав ее «хлестаковщиной»?

Почему так случилось?

Во-первых, потому, что я напечатал свою автобиографию за границей, «не посоветовавшись с товарищами», то есть бесцензурно. Тогда, после скандала с «Доктором Живаго», это был случай беспрецедентный. То было время, когда милицией был бы немедленно задержан любой гражданин, если бы он понес по улице «несогласованный» плакат — даже «Да здравствует коммунизм!». Во-вторых, я слишком многое «позволял», чего не могли себе позволить они сами,— говорил о реально существующем у нас антисемитизме, о наследниках Сталина, о литературной бюрократии, о необходимости открыть границы, о праве художников на разнообразие стилей вне жестких рамок искусственного соцреализма.

Моя автобиография, напечатанная в западногерманском «Штерне» и во французском «Экспрессе», вызвала всплеск новой надежды левых сил в Европе после депрессии, вдавленной в души гусеницами наших танков в Будапеште 1956 года. Жак Дюкло, секретарь ФКП, на приеме в мою честь говорил, что после моей автобиографии многие французские коммунисты, сдавшие свои билеты в 1956-м, снова вступают в партию. Посол СССР во Франции Виноградов в своем тосте за меня сказал, что я заслуживаю за свою поездку звания Героя Советского Союза. Во франкистской Испании моя автобиография была запрещена, как коммунистическая пропаганда. Правые круги в ФРГ критиковали «Штерн» за эту публикацию.

Я по наивности своей думал, что меня в Москве встретят чуть ли не с оркестрами. Но наследники Сталина — старые и молодые — меня встретили оскорблениями, издевательствами, промыванием мозгов. Их, циников, напугал мой остаточный нецинизм, их, тайных нигилистов, не думающих ни про какую революцию, испугала именно моя вера как прямая опасность разоблачить их неверие. Они возненавидели меня за то, что во мне еще держался остаток не отобранной жизнью чистоты, которая уже давно и не пробрезживала в них самих. Они потому так часто называли меня позером, что для них поверить в мою искренность было бы все равно, что признать собственный моральный крах.

ТРИДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ?

Многие годы мне довелось общаться с одним редактором — профессиональным разоблачителем империалистической идеологии, который сам был когда-то похож на акулу империализма, а теперь на черепаху Тортилу. Он был настолько карикатурно несимпатичен, что его охотно приглашали для лекций и телевизионных интервью западные реакционеры. Однажды, попыхивая сигарой мне в лицо, он цинически соизволил пошутить: «Наши отношения мы можем строить на следующей основе: я вам буду позволять тридцать процентов против советской власти, но с условием, что остальные семьдесят будут — «за». Я обомлел, ибо мне и в голову тогда не приходило, что я могу написать хоть строку против советской власти. Но он-то, исходя из своей психологии политического прожженного спекулянта, был уверен, что для меня «очищение идеалов» не что иное, как театрализованная спекуляция.

Профессиональные охранники идеалов — тех самых идеалов, которые я столь возвышенно собирался «очищать», постепенно выбивали из меня веру в сами эти идеалы. Из стихотворения «Монолог попа, ставшего боцманом на Лене» после первой скандальной публикации в «Неделе» в 1967 году цензура не зря долгие годы при последующих перепечатках выбрасывала строфу:

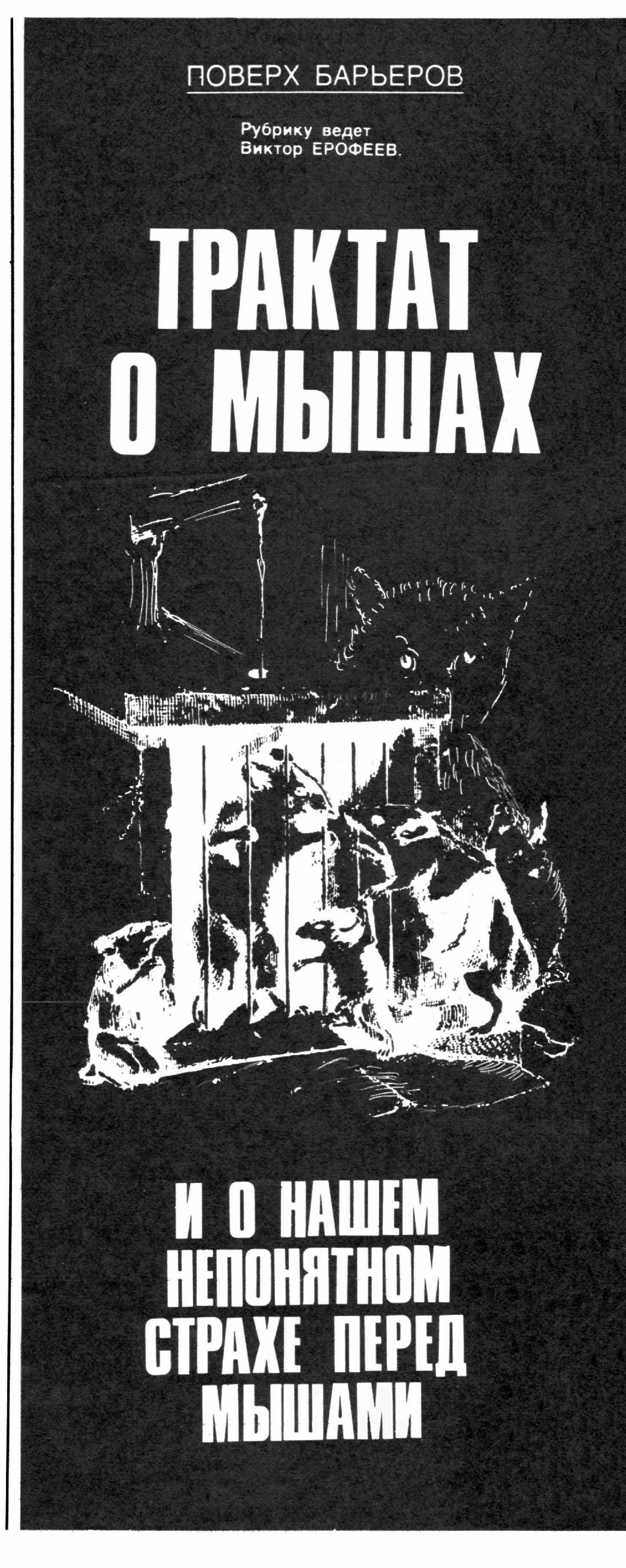
О, лишь от страха монолитны
они, прогнившие давно.
Меняются митрополиты,
но вечно среднее звено.

Но цензура все-таки проглядела другое четверостишие, пожалуй, еще более существенное для внутренней перемены во мне:

И понял я — ложь исходила
не от ошибок испокон,
а от хоругвей, из кадила,
из глубины самих икон.

Я благодарен цензуре за то, что постоянным палаческим вниманием красного карандаша она ориентировала меня на самое важное, самое болевое. Я благодарен цензуре за то, что она постепенно излечивала меня от политических иллюзий, которыми я имел несчастье по преступной щедрости делиться с читателями.

Продолжение следует.



У нас во Франции завелись мыши. До сумасшествия. И что поделаешь? Если бы две, три, мы бы примирились. Мы были бы только рады мышам. Все-таки кто-то свой в доме, и такие хорошенькие. Ушки на макушке, словно у медвежонка; глазки бисерные; конусом, вечно ищущая что-то, щупающая мордочка и длинный розовый хвост. Я всегда спрашиваю окружающих: а зачем у мышей хвост? И никто не объясняет...

Мышей я люблю в общем-то и не имею ничего против. Но они же в принципе уже прыгают, где вздумается. Сидят на обеденном столе, посреди бела дня, на сахарнице, хотя, казалось бы, для них пакетов с крупой, с мукой хватает. На буфете недавно Мария, моя жена, углядела-таки мышонка. Он метался, идиот, под ее проницательным взглядом, не зная, куда деваться, как слезть, и скатился под конец с высоты прямо на пол, визжа от страха. Небось ушибся, перепугался бедняжка. Да и как тут не напугаться! Сами представьте, смотрит на вас большая-большая громадина в очках, да еще в довершение ужаса двумя пальцами делает вот так: «Тип-тип, мышка!» Как щипцами.

Жена у меня не боится мышей, и потому они ходят у нас уже по голове. Вот смотрите — бежит, смотрите! — я пишу, а она бежит по полкам, по книжным шкафам XVIII века. Вообразите! Восемнадцатого! И я, следя краем глаза, думаю, как скоро они начнут грызть переплеты, и что тогда? На кухне пакетов, раскрытых, с мукой и сахаром, с разными пряностями, сухарями... Так нет — по книгам побежала! по рукописям!.. И это мне обидно, как писателю. Зачем же, говорю, так уж сразу по книгам? Разве это терпимо, лояльно?..

Я с детства боюсь мышей. Вот жена моя, Катерина, мышей не боится. Котик, говорит, они же такие маленькие. Я и сам знаю, что маленькие. Но чем они меньше, тем, как бы это сказать... Мышь, смотри, мышь!..

В лагере я не боялся. Даже — крысы! Крыс там у нас было видимо-невидимо. И чем они питались, когда ничего не было, кроме железа,— вопрос. Но, бывало, всякий раз радуешься при виде крысы. Они жили с нами более-менее на одном уровне. Большие, тяжелые такие крысы. С толстым хвостом. И ничего! Помню как сейчас, перед этапом они зашевелились, забегали. И мы вычисляли, мы судили по крысам: не завтра, так послезавтра этап! Прекрасно! Но откуда они знали? Почему беспокоились? Все равно, кроме железа, откровенно говоря, есть там было нечего.

А сейчас, когда я на свободе, живу во Франции и у нас с Татьяной собственный дом в Гренобле, стоит появиться каким-то несчастным мышатам, и мне как-то мрачно делается. Не то чтобы я, как все европейцы, опасался эпидемий. А просто неприятно. Зачем, думаю, здесь?.. Мне Линда, жена, медик по образованию, еврейка, внушает целыми днями: у тебя, Мурочка, во рту больше бактерий, чем у наших мышей. Рот у человека вообще самое грязное и заразное место, учти. Я бактериолог. Ешь чеснок. А ты скользишь по поверхности жизни и каких-то грызунов принимаешь близко к сердцу. Вот если бы ты меня по-прежнему любил, ты бы о них не думал. Ты бы сказал: — Юля! Юленька! Мышка моя! Прижмись ко мне! И все пройдет.

Отвечаю: — Киска! Мышка! Прижмись ко мне!.. Какая Линда, с другой стороны? При чем тут Юленька? Ведь ты же — Гертруда! Не правда ли, ты из Голландии? Ну да, ну да, и я всегда подозревал — Гертруда! Но посмотри, радость моя, они у нас уже всю печку разобрали на части. В собственном доме, в Бретани. Выволокли наружу весь этот асбест, полиэтилен, всю эту готовальню, из которой складывается газовая плита, и — грызут. Вот тебе и Линда!..

— Но они же такие тихие,— возражает Варвара.— Ну, как я, совсем как я! Зачем же так грубо? Бестактно?!

И сейчас же — плакать.

Я согласен. Я со всеми согласен. И все же, когда серенький, неслышный шарик скользит по книгам, шныряет на столе, подле хлебницы, я как-то вздрагиваю. Ты, Полина, не вздрагиваешь, а я вздрагиваю, если увижу. Неизвестно отчего. Ведь я не женщина. Случалось и надо мной, под Волоколамском, нашествие мышей, наводнение. И я ставил мышеловки, регулярно, всякую ночь, а наутро вынимал три-четыре тельца и скармливал нашей сороке с поврежденным крылом, питавшейся, как выяснилось, исключительно падалью,— ни хлеба, ни картошки, ни овсянки она не признавала и жила в сарае, как у Христа за пазухой, пока не убежала. На мышей у меня в тот год был урожай. В ту зиму они сначала, судя по мышеловкам, перевалили за сотню, потом за две сотни, за три, за четыре, и я перестал считать. Но была польза от них и задор — сорока!..

А теперь — женщина, стоящая ближе к мышам, нежели я, ослепительная, с гениальными пальцами врожденной пианистки, в ярко-красном халате, с багровым, как кровь, маникюром и белым, как бумага, лицом, визжа от страха, хватающая острыми, накрашенными, как ястреб, когтями, не знающая, куда бежать с этим теплым комочком, кидаясь по комнатам, сходя с ума, бесясь, что я не иду на помощь, находит выход в уборную и спускает в унитаз. Мышь выныривает, мышь еще живая, мокрая, лапками цепляется по мраморному унитазу...

Прости, читатель. И не взыщи. Не пугайся. Все это я сочинил. Не было никакой женщины с ногтями. Ничего не было... Просто я не знаю, что с ними делать, куда деваться. Пищат. Скачут. Царапаются, если застрянут, во избежание осложнений, шмыгают, поют и танцуют. Мыши, мыши, почему мне так страшно жить?..

Далеко не отходя, вижу себя в детстве, в электрической комнате, запертым на ключ. В гнетущем ожидании мамы, которая все не идет и не идет с работы из своей библиотеки Гоголя на Пресне, так что всегда боишься, не попала ли она под трамвай. Не дыша сижу, пытаюсь читать, рисовать, думать ни о чем, а мышь все скребется и скребется под шкафом. Кричу на нее, топаю ногами, кидаю книгу на пол. Смолкнет на мгновение и опять принимается пилить и тянуть из меня душу. Или, к стихийному моему ужасу, бесшумно выкатывается шариком из-под шкафа — на самую светлую середину комнаты. В ее способности исчезать и появляться неожиданно — неслышно, когда ее видишь, и невидимо, когда слышишь,— было что-то мистическое. Казалось, мышь существует внеразумно, беспричинно, посланницей иного света, нам невыносимого,— тьмы. Стыдно ее бояться, я знаю. Но и нельзя отогнать, нечем избавиться. Побежала-побежала и — скрылась. Была она или нет ее — неизвестно. Только память сосет: вот-вот явится!.. Скребется. Не успела исчезнуть, а уже скребется...

* * *

...Слышу, направо от нас, за перегородкой, тоже неспокойно. Голоса не долетают, но по скрипу половиц: ходит и ходит взад-назад, как нанятый, по старой арестантской повадке. Кто там и о'чем — в зоне узнаю. Добрый мой сосед, «Свидетель Иеговы», отольет слезы на брата — не по вере брата, по крови, из города Кишинева. Прикатил за четыре года на одни неполные сутки, да и те показались долгими обоим. Но не то горе, что не могут они поладить, хоть и куролесят всю ночь, а утром одного со свидания выведут на пилораму, а другой поскачет назад, в Бессарабию, преподавать политэкономию в высшей партшколе. И не в том беда, что в глазах второго брата первый, лагерный, совсем и не страдалец за веру, за Божье, неотступно, свидетельство, но упрямый кретин и садист, не желающий выходить из тюрьмы, лишь бы досадить ближним. А та обида, что прибыл-то второй на свидание с одним портфелем, да и тот пустой. Восседает за столом, как в президиуме, пьет воду из графина, трет лоб, чтобы не уснуть, и учит уму-разуму брата, чтобы вернулся тот в человеческий образ. Мог бы, кажется, подписать заявление, прямо здесь, за этим столом, заготовленное брательником впрок, о разрыве с Иеговой — только махни пером, и вон она, эвон, рукой подать, за воротами — свобода!.. Так нет, ходит и ходит, как зверь в клетке, мракобес, и темнее ночи изуродованное оспой лицо.

— Ты бы,— говорит,— хоть полкило сахара привез...

— Что тут у вас — сахар не выдают? К чему зря таскать?

— Таскают же другим? Везут? Видал небось, когда запускали? Дети, старухи, и те с грузом...

— Ну, мало ли... Может, у них для себя провизия. На три дня запас. На обратную дорогу. Мне-то на что? Я, например, в поселке пообедал. А тебя, с утра, на производстве обеспечат горячим завтраком. Между прочим, у вас тут с питанием неплохо организовано. Я взял на обед, например, котлетку с вермишелью. И ничего — съедобно. Спросил даже вторую порцию. Компот...

— Так это ведь — в поселке. За проволокой...

— А тебе и в поселок уже лень сбегать?

— Как прикажешь — по воздуху? Через запретку?

— Никогда я не поверю. Скажешь, вас не пускают? До столовой рукой подать. И кормят, скажу, почти как в Кишиневе.

— Вольных кормят! Вольных!..

— Ну, знаешь, братец, на тебя не угодишь. Не так обслуживают? Нет официанток? Скатерти не такие?.. Прости, но это фанатизм. Нездоровые настроения... Принадлежность к секте...

И снова начинает зудеть о вреде подпольных собраний, суеверий, о журнальчике «Башня Стражи», сызмальства задурившем башку. Тогда он и первый срок заработал: отказался служить в армии на посмешище всей деревне. Батя в пылу чуть голову не отрубил топором. Вывел во двор — клади голову на колоду! Не было еще в нашем роду этаких иродов. А тот и положил: руби! Мать отбила... А теперь у самого — двое. И — третий срок.

Ответственный товарищ в Явасе, с юридическим дипломом, майор, буквально плачет: «Мы не в силах! Не поддается сородич моральному воспитанию. Так вы учтите — пусть пеняет на себя; мы не из пугливых: мы намотаем и четвертый, и пятый срок... Детей бросил. С женою не живет. Не расписаны. В паспорте у нее пробел — никакой отметки о браке. Приезжала разочек. Но вы сами войдите в наше положение. Не можем же мы — в трудовой колонии, в Доме свиданий — поощрять разврат? Так и уехала ни с чем... Сама не лучше: все с Иеговой! С Иеговой! Она еще у нас досвидетельствуется!.. Хоть бы за это время вышла за кого-нибудь замуж. Завела бы хахаля. Может быть, вы там посодействуете по партийной линии? Подскажете?.. Ведь того и гляди — детей отберут. В интернат. Разве не жалко? Детей!..»

На что уж старший надзиратель в Доме свиданий закаленный человек, и тот содрогнулся: «У вас, гражданин, партбилет, педагогический стаж, большой воспитательный пост занимаете в государстве. Людей обучаете марксизму и ленинизму. А собственного брата до такого зверства допустили?! Сердце разрывается: детей не пожалел — третий срок тянет. Вы бы немного — того-этого — повлияли на брата. Родной же брат он все-таки вам, а не хер собачий!..»

Тоже мне брат! Одно название. Вечный упрек и пятно в анкете. Повлияешь на него! Ходит, каин, словно в клетке, и все свое, все свое долдонит:

— Привез бы ты мне хоть сахара полкило. Белый батон в гостинец...

— Что тут у вас — уже и белого хлеба нет?! Никогда я не поверю...

И всю ночь напролет, долгую бесплодную ночь, препираются братья о хлебе и за сахар. Не повышая голоса, упорно — до Страшного Суда, до последнего Армагеддона...

А у меня Марья тем же часом развела канитель, заплела историю с курицей. Прекрасная была курица, я вам скажу, посланная нам, должно быть, в компенсацию. За Юру Красного, за Михаила Бураса. И того, кто не дерзнул принести мою последнюю, окаянную, но все еще почему-то причитавшуюся по институту зарплату: «Я вам не Дон Кихот!..» За друга детства, за одной партой сидели, на Скатертном, соседи, богатый купец и почти антисоветчик,— так нет, перешел дорогу, завидя жену арестованного... Герой войны, инвалид, из штрафного батальона, выдавил в глаза вдове, после суда: «Жаль, не расстреляли! И буду вечно жалеть!..» Страшно, как меняются люди, в один миг, под влиянием страха.

Да. Знаю. Были и другие. Храбрецы. Альтруисты. Мартиролог до сих пор не иссяк... Но тогда, вначале, в моем сознании все перевесила курица. Она лежала в синей обертке у нашей запертой двери на полу, и, вернувшись с очередного допроса, жена вдруг обнаружила: курица! Кто ее принес? Ни записки, ни фамилии. Если бы друзья, для Егора, не оставили бы так, без присмотра, на произвол судьбы, в коридоре нашей вымороченной квартиры — в ярко-синем конверте, всамделишную, из военного, должно быть, продмага на Воздвиженке. Она была подобна молнии в душный, угнетенный полдень. Отсюда, из Дома свиданий, я вижу ее — как живую. Свежая курица! Золотой дождь...

Загадочный этот подарок вызвал раскол в поколениях. Сердобольная бабка, десятая вода на киселе, из бывших большевичек, напичканная предрассудками и ужасами чисток, твердила: выкинуть! выкинуть! подослана из органов! и наверняка отравлена! хотят сквитаться!..

Мария, новая поросль, на опыте допросов основы-

валась, что вырубить нас под корень могут законным путем. Ничего не стоит. Материалов достаточно. Нужна им какая-то курица! Не те времена... Споры упирались — и в том загвоздка — в особенности нынешнего исторического развития, балансирующие, как чаши несогласованных весов. «Жажда крови?» — один расчет. «Сытые тигры?» — совершенно другое. Короче, дилемма века сводилась, как я полагал за кулисами событий,— варить или выбросить волшебную курицу, положенную к дверям в качестве шарады... Был же в конце концов или не был XX съезд?!

Победило, как всегда, молодое поколение, и курицу вслепую сварили. Егор, откушав бульончик, проснулся живым и здоровым, даже не было поноса. Страна, трясясь и оглядываясь, переваливала новый рубеж. А в мире между тем появились незнакомцы, приходившие в дом арестованного не с камнем за пазухой, а с курицей в хрустящей бумаге!

Я чувствую, как впадаю в экстаз, едва заслышу о ней, душистой, из морозильника, в заколдованном чьем-то портфеле. Диккенс и сказки Андерсена. Сверчок на печи. Быть может, потому, что еще Екатерина Вторая писала Дидероту о курице, что ни воскресный день, плавающей у всякого русского пейзанина в супе. И курица, Екатерина Великая, магазин на Воздвиженке, Дидерот как-то совмещались в уме — в одной чашке бульона. Она испарялась нектаром под облака, в золотистых инициалах Российской Императрицы, покуда снизу, разинув рты, мы взирали на голубые плафоны, дымившиеся музами, купидонами, которые ее возносили в содружестве корзин с фруктами, кадильниц, одухотворенных задов,— все более и более, по законам перспективы, удалявшихся от нас. Следом за ними, за ангелами, за облаками, в синюю высь влекся и аз, в инициалах, упиваясь ароматом дарованного младенцу бульона, и уже не замечал свисавшей с потолка, на спор с Дидеротом, старческой, осклабленной маски Вольтера.— Курица-то, курица оказалась неотравленной!..

Незнакомец, разумеется, как сгинул. Пришел, положил у порога, как голову кладут, и ушел. Только и делов-то? Но требовалось решиться... С тех пор для меня затрепанное, газетное словцо «диссидент» все равно что благоуханный подарок. Нет, господа, что-то изменилось в России. И первым «диссидентом», возможно, был безвестный человек, который принес курицу. После этого что хотите пойте. Я меряю отсюда, с порога. Вы можете умереть и ни до кого не докричаться. Никакого добра не было и нет. Бог один остался, но Бог — далеко. Надо трезво смотреть на вещи. И принять все как есть, сполна: и Юру Красного, и Михаила Бураса. Но кто-то приходит и кладет у дверей — в сверкающем синем пакете...

— Лед тронулся! Лед тронулся! — возглашаю на перекрестке дорог, в нашем укромном трактирчике, где мы заночевали, словно в свадебном путешествии. Хотя, признаться, я и тогда сомневался, и сейчас не верю, что лед тронулся. Но — приходит незнакомец...

— Проветри,— попросила Мария,— тут так накурено, дышать нечем. Пусть продует...

Я снял осторожно крючок, приоткрыл дверь и отпрянул. Там, во глубине заведения, стоял на четвереньках дежурный по вахте, лейтенант Кишка. Свисая нагрудными знаками, как беременная сука сосцами, он вел прицельное наблюдение за нашими соседями слева. Сколько он созерцал уже, четверть часа или более? Как подпол, без сапог, в шерстяных носках? — мы и не слыхали. Казалось, зажатый глазным отростком в пробое, Кишка не мог расцепиться с образом соития, который воспроизводил в одиночку, собственным обликом, наподобие склещившихся в жаркой вязке собак. Громадный сперматозавр, почуяв мое дыхание, не оборачиваясь, красный, как факел, разорвался-таки пополам и ринулся назад, к вахте, откуда выползал, судя по всему, полакомиться к нам, на свидания, в скудные, ночные часы дежурства. Будто и не было его, и он исчез в зарослях, за железной завесой, раньше, чем я догадался, зачем его сюда угораздило. Тогда рядом с нами расположилась на ночь молодая чета, не помню уже, за что и по какому приговору разлученная то ли на пять, то ли на семь лет. В ее постели Кишка нашел золотую жилу...

Выждав, когда он уберется восвояси и задвинет за собою засов, я все же, ради страховки, прикрыл дверь поплотнее и выругался нецензурно и длинно страшной матерной бранью, на которую сподобился.

— Ты о чем? — удивилась Мария неожиданному повороту.

— Да так просто. Вспомнил... К слову пришлось.

Мне, сознаюсь, не хотелось вводить ее в курс событий. Скандалить? Возбуждать тревогу? Портить ночь? Возможно, это последняя — и у нас, и у тех... Не хотелось.

— Все в порядке,— говорю.— Ничего. Одну минуту...

По счастью, в нашей каморке старанием, очевидно, семьи, которую мы сменили, бесполезная замочная скважина была заткнута ватой. Добрая предосторожность. Ватка... А тот, гад...

Что было делать, спрашивается? Будить юницу? Конфузить молодого, неопытного любовника непрошеной заботой: «Гасите свет, закройте щелку... не то завтра, если будет у вас завтра, снова подглядят»?.. Срывать чадру целомудрия с брачного чертога, напоминая — наблюдают, и все, что вы там у себя вытворяете на кровати, для них одно кино и цирк один?! Какая разница. Я не оракул... Увы, я не моралист. Детей воспитывать, повергая в стыд и отчаяние? Сами не маленькие. С меня хватит... И я выругался еще раз дикой российской руганью, от которой стены трескаются, но которая, впрочем, ничего не обозначает, кроме нашей общей беспомощности. Потом, вторично, отворил дверь — проветрить...

В самом деле, в номере было хоть топор вешай. Брань пополам с протухающими, опухшими в блюдце окурками издавала смрад, что тьма кромешная, не считая миазмов, желудочных и иных отправлений. Последние все же, как нарочно созданные для этих стен, вносили дозу совести в то, что происходит. Мне сделалось не по себе: «Ромео и Джульетта!..»

На руках, на щеках, по всей коже, мнилось, выпадает осадок, вроде порошка, которым морят клопов. Бессмысленно. Хотелось умыться. Обтереть лицо полотенцем. Хотя что-то духовное мгновениями как бы источалось из воздуха, оно было мерзостней, нежели сам запах, на манер какого-то густого первородного греха, не локализованного, однако, в одной точке пространства, но равномерно посеянного по всей галактике, в виде сыпи или кори, какою болеют дети: порываешься, как во сне, стереть вместе с лицом, но все время отвлекают...

Мне снова вспомнился поэт Валентин Соколов, бросивший при высоком начальстве, когда оно играло на струнах — дадут — не дадут свидание, как будете себя вести, зависит:

— Жена, примечай внимательнее, твоей п... торгуют!

Верно: Дом торговли. Растление. Запускают, кипятят, снимают приварок. Как посмели? У нищих? Изо рта? Красть! Подсматривали бы за вольными бабами, без привязи, не возражаю, хоть в бане. На голую бабу, согласен, всегда приятно положить глаз — успокаивает. Но здесь? Перед смертью? Раз в столетие? На том, что противится разуму, срываешься...

Передо мной воздвигался, свисая орденами, лейтенант Кишка. Страж во вратах рая, по оперативному заданию, с коротким мечом, на карачках... На воле мы без тебя обходились и жили беспечно, как звери. Но здесь ты запер и подкрался. Восстал. Что ни ночь, вдыхаешь сперму, которую мы испускаем, раз в год, воздев сердце кадильницей. Дивись, любуйся! Лезь с потрохами! Все равно ты ничего не увидел, не разглядел. Ты все проворонил, Кишка!..

Бывало, приплетешься к жене сказать спокойной ночи, а она уже засыпает.— А ты смешная,— скажешь, подтыкая одеяло, как ребенку, на спине.— А почему смешная? — спросит сквозь сон, не дожидаясь, впрочем, ответа. Подумаю: а потому, что люблю. С грустью. Кто тебе, милочка, подоткнет спинку, когда меня не будет? Вот и все объяснения. Уйду, подумав...

А рассвет не дремлет! Его еще нет, рассвета, до него ехать и ехать. Мы скрываемся в ночной глубине, как в коконе, как под плащом во время ветра, и еще чернее — в прыскающей черноте электричества. Но рассвет приближается и уже невидимо бродит призраком покойника в доме, собирая дань с постояльцев за то, что жили здесь, как все люди живут. До конца осталось пять, нет, еще шесть, нет, еще восемь часов. Все время такое чувство, что кто-то умер. Наверное, по-настоящему так и быть должно. Пока мы живем и живем, каждую минуту кто-то среди нас умирает. По тюрьмам, по больницам. И просто на проезжей дороге. Только мы не замечаем. Не думаем. Это делается втайне. Но все время, пока мы живем, кого-то уводят в расход. Невольно озираешься: не тебя ли?.. Не за мной ли?.. Здесь не говорят о веревке. Она витает. Только улыбнешься:

— Ты еще жива?

— Жива. А ты еще живой?

— Живой!..

Хожу и хожу по комнате, как маятник, в опровержение распространенного мнения, будто звери ходят монотонно по клетке, не понимая ситуации, в какую они угодили, с наивным расчетом найти выход не с этой, так с той стороны. И звери бездоказательно мечутся от одной запертой дверцы к другой. Понюхав, бегут обратно... И я бы остался при том же предубеждении, когда б не усвоил на практике, вживаясь, этот премудрый закон медленного челночного шага от стены к стене, которым достигаются исподволь широта обзора, спокойствие и равновесие духа, позволяющие лучше обдумывать всевозможные коллизии, в пределах и за пределами стен, в их ритмическом развитии. Твое мягкое скольжение по камере, из стороны в сторону, заведомо бесцельное, принимает форму работы по извлечению и прояснению смысла, точнее говоря, совпадает с его собственным уже, без тебя, непроизвольным ростом. Что-то вроде настройки на звуковую волну. Ходишь и ходишь туда-сюда, набирая сторонний, далекий и сопутствующий твоему блужданию ум. Звери, я убежден, ведут себя так же. Попав в неволю, исчаявшись, они не ищут выхода, но, чтобы не издохнуть, вступают путем хождения в некий резонанс с иными пластами пульсирующего всюду сознания и живут уже на правах литературного бытия, которое не упирается в стену, а просто-напросто ее минует и, рассказывая о себе, вслушивается в такт всемирной, речитативно доносящейся жизни, в согласованности с которой, сами того не ведая, мы существуем и думаем. Неужто вы полагаете, что все ваши мысли так и зарождаются у вас в голове, как черви? Голова такая маленькая, а мысли большие-большие, и берутся они в основном из воздуха, из космического, если хотите, пространства, которое трепещет в зарницах еще не пойманных слов, так что вам остается лишь своевременно к ним повернуться, прислушаться, слоняясь туда-сюда, туда-сюда в ограниченных условиях клетки, камеры или книги.

Звенит гитара в уме. Струна дрожит в тумане, исходная точка наших бедствий, навевая успокоение узнику. Нетерпеливо спрашиваю Марию:

— А ты помнишь — кажется, нам это пел Шибанков? Здесь, между прочим, это почему-то не поют, хотя тут бы, кажется, ее и петь, ее и петь?

Петь на самом-то деле я положительно не умею. Без голоса. Пробую изобразить на пальцах, что, собственно, имею в виду и ловлю по слуху. Действительно, была такая... одна... вначале...

— «Когда с тобой мы встретились»? — читает она мысли.— Конечно, помню...

— Да, то самое!

Продолжил неслышную музыку и хожу по кругу, восстанавливая про себя милый недостающий подстрочник. Хорошо, она подсказала зачин:

Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела,
И в шумном парке музыка играла,
А было мне тогда всего семнадцать лет,
Но дел успел наделать я немало...

Бывают такие мелодии — даже не мелодии, обрывки мелодий,— слышанные давно, словно в другой жизни, забытые, возможно, и незнакомые вам, но все-таки странным образом припоминаемые, всплывающие по одной какой-нибудь нетвердой ноте. В одиночестве или в тюрьме, на чужбине, нам особенно дороги эти стертые или мнимые записи нашей ранней и, казалось бы, уже утраченной памяти. Будто по улице, в уютном шуме толпы, бредешь по песне и говоришь сам с собой, перекладывая на себя чью-то встречу, о которой поется, как он ее зарезал из ревности и теперь ждет расстрела. Иди и пой, сопровождением жизни, твоей единственной и всеобщей, когда не важно как? почему? да и было ли убийство или только померещилось? Блатной репертуар. Из тех жестоких романсов, от которых у меня смолоду, чуть заслышу, пересыхает во рту и грудь сжимается страстной, тлетворной тоской по неумению запеть вместе со всеми. Что это — сродство душ? Или, быть может, ирония, скрытая в чудных звуках, глубже пролагает дорогу к сердцу современника, нежели классический песенник? Ведь не было ни парка, ни шумной толпы, ни музыки. Ничего похожего. А вот, поди ж ты, все это как будто и было только вчера, да только одно это и было в жизни!..

— Как дальше, Маша?

— «Потом я только помню...»

— Ах, да!

Потом я только помню, как мелькали фонари
И фрайера-лягавые свистели...
Я долго-долго шлялся у причала до зари,
И в спину мне глаза твои блестели...





Ага, это он ее, значит, уже убил!.. Но, вы думаете, убитая уставилась ему в спину, провожая глазами возмездия. Немезида?! Что его мучает призрак совести, которого он страшится и бежит, перепрыгивая изгороди? Как бы не так! Такого разве проймешь? Она смотрит ему вслед удлиненным, внезапно вспыхнувшим, как прожектор, взглядом с благодарностью и сожалением. Бедный! Сколько еще ему бежать, по круговой дорожке, до обещанной встречи с ней, до назначенного в парке свидания?..

Когда вас хоронили, ребята говорили,—
Все плакали, убийцу проклиная...

Правильно: детей хоронили. Но убийцей на сей раз был уже я, автор. И я один не плакал.

Я дома взаперти сидел, на фотографию глядел:
С нее ты улыбалась, как живая!

Все плакали, жалели. А я радовался: оживает! Предвестие коснулось меня: спасена!.. Что она ему изменила, с кем и почему,— это второстепенно, это самая, кстати, слабая сторона и часть песни. Но верх берет поэзия, едва он занес нож, и закрадывается надежда, когда, перехватив, я его вонзаю,— воскресла! Спрашивает, заливаясь слезами,— локти на стол: что ты наделала, девочка? и кто бы исправил? как бы ты жила, куда бы подевалась, если б я тебя не зарезал? Мало что вор — убийца! Да и она не ангел. Но хотелось тоже иметь что-то красивое в жизни. Душа просила — вернуть посмертно в лоно первоначальной невинности, на детский праздник в парке, как Ромео и Джульетта. Теперь проклинайте, сколько хотите,— дело сделано! Вернись! Приникни! Не тебя, а себя принес он в жертву неутоленной любви и бежит по направлению к ней, не оглядываясь, в лучах ее просиявшего встречным счастьем лица...

Завтра прочитают мне смертный приговор,
Завтра я глаза свои закрою,
Завтра меня выведут на тот тюремный двор...
И вот когда мы встретимся с тобою!
Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела...

И опять за старое. Будто заигранная пластинка крутится в мозгу, всякий раз зачиная тот же цикл жизни — не мне, так другому, не другому, так третьему, не все ли равно? Только не в парке мы встретились, не на модном курорте и не в приморском ресторане... Ты не видишь, не знаешь, где мы находимся...

— Прости, пожалуйста,— говорит Мария, перебивая мои мысли.— А если бы нам, например, дали свидание в морге? Не фигурально, а по-настоящему — в морге. На трое суток. На один час. Ты бы — отказался?

— Что ты!.. Да где угодно...

— То-то же... Молчи. Мы встретились — в морге. Понимаешь? В морге. И пользуемся условиями...

В Доме свиданий ночь больше дня. Но, и помноженная на все без сна проведенные здесь ночи, она бледнеет под конец и сходит на нет. Пора! Тут уж не до смеха. Часы отсчитаны, и двери на замке. И речи уже исчерпаны. Рассвет напоследок закрадывается в окно, кажется уже с вечера незваным гостем и примешивается к молчанию, делая горьким питье и объятия теснее, порывистее, подхлестывая не упустить оставшийся на прощание шанс. Как если бы вам предложили однажды испить «кубок жизни» залпом, сдав на подержание, на ночь, эту меченную позором и потерявшую голову комнату. Тогда начинаешь догадываться, что плотское в тебе, или, как еще называют, животное, начало, в нормальное время внушающее стыд либо, кому повезет, гордость собою и веселое расположение духа,— это не прихоть сбесившегося богача и гурмана, но способ досказать недосказанное на словах, при жизни, единственной сообщнице и заместительнице твоей на земле — на весь, уже ей отпущенный Богом срок.

«Язык глаз,— писали в романах,— бывает красноречивее уст!..» Бывает. Все бывает. И уст, и глаз... Но теперь, осмелюсь заметить в родовом определении, все красноречие, сосредоточенное в тебе, необходимо перенести, за неимением иных аналогий, на язык жестов, исполняемых к тому же нижней в основном половиной туловища, незрячей и безгласной. Это было бы неправдоподобно, когда бы не мгновенный инстинкт самосохранения, бросающий нас цепляться за соломинку в минуту крайней опасности. Мы, как слепые котята, как земляные черви, тычемся нащупать друг друга в поисках наибольшей доходчивости, способной в зашифрованной форме передать сигнал о себе и о бедствии, которое мы терпим. Последнее, не снимая любовного колдования, делает его осмысленнее и добрее. И если смерть, говорят, проистекает из греха, то здесь, в ее соседстве, весы склоняются внезапно в его пользу, словно это грех во спасение, в помощь вам, мольба о помощи, исповедь и заклятие вместе. С бодрого галопа он сбивается на диалог, построенный на одном осязании, но имеющий в принципе быть зафиксированным даже и словесно, в самом приблизительном и схематизированном виде. Что-то вроде:

«— Узнай меня и прости. Нет никого на свете. Нигде и никогда. Ты же понимаешь. Запомни перед концом. До конца. Запомни. Запомни. Пойми и запомни...»

Нет, я не берусь пересказывать так буквально эту древнюю пантомиму. В моем изложении, я знаю, все теряется. Интеллектуальный оттенок невольно сообщает пересказу не идущий к делу технологический элемент, как бы приглашая угадывать за словами кадансы и спазмы детородных органов. Между тем в предлагаемых обстоятельствах в мою задачу не входит запечатлеть ощущения, пускай и весьма приятные, но — логику свершаемого в этих стенах оплакивания. Тут не наслаждаются жизнью, тут с нею расстаются, прощаются. Старательно хоронят надежду: а вдруг прорастет?!

Логика, однако, не поддается переводу на внятную кому-то, помимо участников обряда, рассудительную и членораздельную речь, поскольку в довершение бреда она нечленораздельна и нарушает границы нашего естества и сознания. А то, чего доброго, вы бы еще спросили: а что он сказал? а что она ответила?.. Здесь нет делений на «него», на «нее», на вопросы и ответы. Вопрос и есть ответ. И грех — наравне со смертью. Наконец-то!.. Я всегда этого ждал. И вот совпало. Не смех, но смерть растворяет мои уста: заговорить о недозволенном. И смолкнуть. Исчезнуть. Рассыпаться в блеске подступающего дня. Лишь на миг в уме будто что-то просверкнет.

«— Запомни,— говоришь.— Мы расстаемся! Мы больше не увидимся — пойми!..»

Но опять-таки не говоришь, а вдалбливаешь, доказываешь обрубком, когда нету рук и встреча на исходе, а ты, бездарный дурак, все проспал и не успел ни о чем поведать. И ты повествуешь сызнова, сначала, с конца, колотишься лбом в стену, ловишь, зазываешь в гости, жалуешься и утешаешь... Эта кропотливая в общем-то церемония, всем хорошо знакомая, любопытна в том отношении, что ходишь ты с битой карты — как с козыря! Будто дерзаешь, порываешься куда-то... Не из самомнения — просто у тебя ничего нет за душой. Ты бестактен. Ты разнуздан, как шулер, пойманный на месте, с расчетом, что и она — шулеровка. Вы оба шулера, а третьего не дано. Свои люди — сочтемся!.. И этот последний довод делает речь убедительной, имея на примете каким-то нелегальным путем укорениться в жизни вопреки всем показателям, что тебя не существует. Бесстыдство — твоя единственная очевидность. И знак доверия между вами.

«— На! Прими, как есть. Я — таков!»

И словно в ответ долголетняя дрожь из-за стен. Выкрики и песнопения. Как это перевести на вразумительный язык?

«— Я страшно тебе благодарен за прожитую с тобою совместно, обоюдоострую жизнь...

— А будешь помнить всегда?..

— А еще приедешь?..

— А помнишь, как мы ездили на Север?..

— А будешь помнить, когда я здесь, без тебя, убьюсь?..»

А дальше, дальше пусть она думает. И делает, как знает. Со мною кончено! Раздавлен и оболган... В ярости, что с тобою кончено, ты высказываешься уже не лицом, не членом общества, но придатком себя, обуянным разумом и продолжающим ораторствовать на тех же громоподобных глаголах: «— Поверь! Пойми! Запомни и останься!» Высокопарным тоном, почти трагически, но, уверяю вас, совершенно голословно... Зато в итоге мне стало тогда яснее, откуда дети родятся и что вообще это значит, само по себе,— зачатие. Жена тебя сокрыла. Запомнила. Доверилась. Поняла. И понесла. Не гены это совсем. Не молекулы. Но понимание и память...

Имеются породы рыб, говорят, а также насекомых, которые гибнут прилежно в акте оплодотворения, но к этому более всего и стремятся, и готовятся... Вы думаете, мы так уж далеко от них отделены? Или что им — не хочется жить? Еще как хочется! Но смерть, по-видимому, у них пересекается с зачатием, как двойственная цель бытия, и служит условием продолжения рода и вида. Так и у нас? Не знаю. Но что-то похожее, во всяком случае, я наблюдал за собой и на себе в Доме свиданий, в лагере.

■

Гибель богов... Так можно назвать процессы, происходящие сейчас с верхушкой политической власти страны. Последним зловещим отзвуком этого стали события в Литве, совпавшие с избранием нового Председателя Совета Министров и назначением нового кабинета. Маятник, качнувшийся 5 лет назад влево, по неудержимой логике нашего дикого, не развращенного демократией общества, теперь устремился вправо. Совершенно очевидно, что ностальгия по сильной руке начинает приобретать вполне осязаемые формы. И если год назад разбор событий в Грузии вызывал у Президента смущение, то литовский вариант был откомментирован им как нечто само собой разумеющееся. По всей видимости, Горбачев либо не имеет власти совсем, либо предельно ограничен в своих возможностях. Назначение Пуго, а затем Янаева и Павлова и, наконец, Литва — проверка Горбачева правыми на готовность выполнять их требования. Диктат номенклатуры под прикрытием Президента мало чем отличается от откровенной диктатуры. Опасения, что в России скоро появится Комитет национального спасения, состоящий из полозковых, андреевых и петрушенко, отнюдь не лишены оснований.

Но Россия не Литва, и степень остервенения изголодавшегося народа здесь куда больше. Развязка скорее будет похожа на Бухарест, чем на Вильнюс. А последствия попытки реванша правых будут ощущаться еще 73 года.

Кто же они, эти правые силы? Понять это можно, ответив на вопрос: cui prodest? — кому выгодно (лат.). Крен вправо нужен тем, кого никоим образом не устраивает демократия в сочетании с частной собственностью. А это партаппарат, руководители нерентабельных предприятий госсектора, руководство военно-промышленного комплекса, работники госторговли, руководство сельского хозяйства. С негласного одобрения партаппарата торговля устраивает хронические перебои с товарами, провоцируя тем самым народ на недовольство левыми силами. Нечто подобное наблюдалось и в Литве, в отношении которой некоторое время проводилась политика «нежного» удушения с помощью блокады. Как только правые придут к власти, несколько месяцев в магазинах, может быть, действительно будут товары, но потом, кроме танков на улицах, ничего не останется.

Может, где-то история и идет по спирали, но не у нас. И на смену 85-му может прийти 37-й...

С. БАРСУКОВ
Калуга

●

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ, ИЛИ РЕКВИЕМ ПО АНТУ



Геннадий ТРОФИМОВ

Примерно в двадцатых числах февраля ушедшего года заместитель начальника Главного контрольного ревизионного управления Министерства финансов СССР Валерий Григорьевич Пытко пригласил меня в свой кабинет и сообщил, что я включен в группу по проверке деятельности концерна АНТ. По поручению правительства.

Решение начальства показалось мне, старшему ревизору-контролеру министерского КРУ, закономерным, и, кроме того, появился личный профессиональный интерес: хотелось понять, что же это за организация, о которой в последнее время так много говорят и пишут и под которую подвели такую крупную мину — скандал с танками.

То, что эшелон с боевыми машинами в Новороссийском порту явился лишь предлогом, было похоже с самого начала. На эту мысль наводила логика стремительного развития событий. Ведь если появление на берегу Черного моря платформ с Т-72 было криминалом, то в первую очередь надо разобраться, кто же поставил танки на специальные платформы, как вообще они ушли с Уралвагонзавода.

Мы, люди, искушенные в различного рода проверках, прекрасно понимали, что с самого АНТа в криминальном отношении много не возьмешь: он только оплатил стоимость машин, причем, судя по документам, тягачей. Если со стороны АНТа и имелось конкретное нарушение, то только третьестепенное: даже за спекуляцию судят не того, кто покупает, а того, кто продает. Следовательно, главный ответ должны держать оборонное ведомство и спецслужбы, отвечающие за сохранность военной продукции.

К тому времени руководители страны уже не раз заявляли, что одна из главных целей перестройки — правовое государство. На эту тему публиковались многочисленные статьи авторитетных юристов, доказывавших, что при любых прецедентах главенствовать должен исключительно закон, а не мнение каких бы то ни было влиятельных лиц. Однако когда дело коснулось АНТа, никто из обличающих концерн во всех смертных грехах, а также, напротив, защищающих его, почему-то не заметил, что на пятом году перестройки у всех на глазах совершается вопиющее нарушение законности. Еще не имея ни результатов проверок КРУ Минфина СССР, ни расследований Прокуратуры СССР, АНТ дружно и решительно осудили на специальном совещании руководители военно-промышленного комплекса. Следом за ними начал метать громы и молнии в адрес АНТа Президиум Совета Министров СССР. На его заседании АНТ обвиняли в деятельности... письменно разрешенной концерну теми, кто его обвинял!

Но правительство это не смущало. А коль скоро прегрешения сформулированы «наверху», задача значительно облегчается: вину остается лишь подтвердить, насытить любыми фактами. Все та же до боли знакомая схема. И все-таки требовались веские доказательства.

Участников проверки собрали в Прокуратуре СССР, где, кроме хозяев, были сотрудники МВД и КГБ, работники Министерства финансов СССР. Сначала нас проинформировали о том, что было уже известно из печати, а затем сообщили, строго конфиденциально, что есть личное поручение Николая Ивановича Рыжкова провести тщательную проверку деятельности промышленного государственно-кооперативного концерна АНТ. И уже им подписано постановление Совмина СССР о прекращении деятельности этого концерна.

По мере того как нас знакомили с программой проверки, я все больше убеждался в ее предвзятости. Многие из подразделений АНТа являлись самостоятельными юридическими лицами, вели различную хозяйственную деятельность. Зачем же ее блокировать? Вырисовывалась и неправомерность методического подхода к самой проверке. С самого начала к ней, кроме Минфина, были привлечены КГБ, Прокуратура, МВД. Участие этих ведомств в расследовании эпизода с танками можно как-то объяснить — там налицо, так сказать, физические операции, и надо выяснить обстоятельства, связанные с ними. Но что будут делать эти ведомства в других подразделениях АНТа, не причастных к оплате 12 машин? По закону проверка следственными органами может происходить только вслед за финансовыми, и то в том только случае, если последние обнаружат достаточно серьезные нарушения.

Допустим, финансовая проверка выяснила, что по вине такого-то товарища совершено такое-то действие, ущерб от которого выражается в такой-то сумме. Что именно расследовать, скажем, Прокуратуре, если ничего еще не обнаружено? Кого допрашивать, у кого брать подписку о невыезде, в каких именно операциях искать состав преступления? Это уже второй этап проверки. Но выходило, что карательные органы взялись за дело прежде, чем сказали свое слово экономисты.

«НАЙТИ» ВАГОН И МАЛЕНЬКУЮ ТЕЛЕЖКУ...

После окончания совещания я подошел к руководителю группы, работнику Прокуратуры СССР Погорелову и поделился своими сомнениями. Он ответил, что поручения правительства не обсуждают. Обратился я и к своему непосредственному начальнику Пытко. «Валерий Григорьевич,— сказал я,— программа-то составлена тенденциозно. Что будем делать?» Но он только отмахнулся.

Итак, с самого начала нам словно был выдан карт-бланш: АНТ виновен. Некоторым моим коллегам это позволяло особенно не напрягаться, подходить к проверке так, как если бы работа АНТа строилась по принципам обычной государственной организации. Но хотя 99 процентов дохода концерна в валюте и 97 процентов — в рублях перечислялось государству, ему было офици-

ально разрешено действовать на основании «Закона о кооперации СССР». Следовательно, вмешиваться во многие стороны деятельности мы просто не имели права.

Работая в контрольно-ревизионном аппарате Минфина, я видел, что тут (как, наверное, и везде) есть две категории чиновников. Одни прекрасно понимают несовершенство нормативных документов, грубо попирающих экономические законы. Такие, будучи вынужденными держаться места, как-то выражают свое несогласие, стараются, чтобы зря не страдали люди и интересы дела. Другие же настолько привыкли к силовым приемам, что не хотят замечать происходящих перемен, живут словно в прежнем измерении. Жонглируя устаревшими нормативными документами, инструкциями, параграфами, они готовы «упечь» любого.

На некоторых во время проверок находит некий охотничий азарт: побольше «накопать», «нанизать» отрицательных фактов. В контролирующих органах Минфина существует такая система: если проверяющий приносит богатый «урожай», то об этом работнике говорят: «О, какой грамотный и толковый специалист!»

Прослыть «грамотным» и «толковым» не так уж сложно. Деятельность любой государственной организации опутана столькими ограничениями в вопросах оплаты труда, снабжения и прочими «нельзя», что при желании придраться всегда найдется к чему. Даю голову на отсечение, что на самом благополучном производстве можно «накопать» при желании вагон и маленькую тележку. Судьба организации и ее руководителей в руках проверяющих...

ПОДМЕНА

Здесь был вообще сложный случай. Чтобы проверять, нужно самому хорошо знать то, чем интересуешься. Требовалось внимательнейшим образом изучить «Закон о кооперации», полтора десятка дополнительных актов к нему. Существенное значение могли иметь и три отдельных постановления Совмина СССР по деятельности АНТа (к слову, часть из них была секретной, чем впоследствии воспользовались противники концерна). Много часов просидел я за изучением законоположений. Ездил в Госплан, консультировался с экономической службой Совмина СССР.

Но когда мой начальник Пытко попросил подредактировать некоторые разделы программы проверки АНТа, то я увидел, что она явно составлена так, как если бы перед нами обычное госпредприятие.

Во всем этом было мало приятного, но, являясь сотрудником аппарата Минфина, я вынужден был выполнять то, что мне поручают.

Сначала я участвовал в проверке аппарата АНТа, а затем пришлось руководить группой, работавшей в одном из подразделений концерна, теперь уже бывшего. В нее, кроме меня, входили представители Прокуратуры, МВД и КГБ, а также работники районных финансовых органов.

В течение полутора месяцев каждый день я приходил в Рождественский переулок, где хранилась документация центрального аппарата АНТа, и страница за страницей изучал его банковские расчеты, кассовые операции. Выписывал номера платежных поручений и договоров, суммы прихода и расхода, от кого и за что они поступали. Одновременно специалисты из налоговой инспекции КРУ проверяли правильность налоговых деклараций.

Как я и ожидал, настрой коллег обязательно «найти» проверяемых сразу стал приносить плоды. Нередко претензии спешили предъявить, даже не вникнув в суть дела. Но при более тщательной проверке с участием работников АНТа «нарушения» одно за другим отпадали. Машина контроля, однако, продолжала работать.

А что определил я? Да, некоторых инструктивных атрибутов учета работники АНТа не соблюдали. Но наша бухгалтерская система учета до того громоздка, что избегать определенных операций в ней просто полезно. Иначе холостой работы не миновать.

Встречались, конечно, и некоторые погрешности, связанные с недостаточной квалификацией работников. Но о злоупотреблениях говорить не приходилось. Все суммы, поступавшие за выполненные работы, отражались в учетных регистрах и соответствовали тем средствам, которые получались в банке. Чтобы не утомлять читателей подробностями бухгалтерского учета, скажу, что имели место лишь мелкие нарушения, которые можно найти на самом образцовом предприятии. На прегрешения ожидаемого руководством калибра они явно не «тянули».

И тогда был применен незамысловатый прием. Деятельность АНТа стали оценивать не по «Закону о кооперации СССР», а как обычного госпредприятия.

И ОПЯТЬ ПОЛОЗКОВ

Тут проверяющим было где развернуться. Набегали злоупотребления на солидные суммы, начинали поговаривать о будущих громких обвинениях в хищениях...

В ход были пущены привычные тарифно-квалификационные справочники, разряды, штатные должностные оклады. С ними сравнивали атрибуты АНТа и потирали руки: прорисовывался требуемый результат.

Работа пошла веселей. Большинству тех, кто проверял АНТ, комфортнее было в рамках тех нормативов, к которым они привыкли.

Надо заметить, что существующая у нас система оценки труда представляет для этого богатейшие возможности. Документов, основанных на экономических законах и квалифицированно регулирующих распределение дохода, у нас нет вовсе. К тому же принцип квалификации нарушения — категория относительная. Если нарушение соизмеряется с объективными нормативными документами, то эта оценка справедлива. У нас же оценочная система продолжает опираться на все отжившее. Подавляющее большинство нормативных актов выражает интересы только государства, а отнюдь не человека. С их помощью при желании любого можно сделать преступником.

Попытки моих коллег подвести под работу сотрудников АНТа криминальную основу не заставили себя ждать. Начали с командировочных расходов. Мол, почему это суточные превышают установленную для государственных предприятий норму 3 рубля 50 копеек? Объяснение, что таково вполне законное решение руководства организации, в расчет не принимается. «Это не командировочные, это чистый доход»,— утверждают проверяющие. А раз так, нужно было платить с него налоги! Попались? У некоторых сотрудников АНТа, постоянно разъезжающих по командировкам, за два года набежали изрядные суммы. Значит, финорганы могут оформить материалы в суд?

Если по закону, то ни в коем случае. Командировочные выплачены организацией из своего дохода, из которого уже государству перечислили налог. Доходом можно распоряжаться по своему усмотрению. Почему бы не потратить его на повышение работоспособности человека в командировке, создав ему соответствующие условия? Это ведь окупится. Предъявить за это претензии — все равно, что морализировать по поводу того, как какая-то семья весь свой капитал тратит на питание, покупая продукты на рынке, а другая — во всем себе отказывает, но копит на автомобиль.

Проверяя документы, я обнаружил, что сотрудники АНТа буквально дневали и ночевали на службе. Работали по вечерам, в выходные. Много ездили. Состояние наших транспортных, коммуникационных, сервисных услуг хорошо известно. Сколько нужно заплатить таксисту или частнику, чтобы сразу подвез? Короче говоря, по «Закону о кооперации» сколько тратить на эти цели — дело самой организации.

Казалось бы, очевидные вещи. Но целых пять месяцев проверяющие делали расчеты и выборки, буквально терроризировали сотрудников АНТа, грозя инкриминировать незаконное получение денег то на командировочные, то на транспортные расходы. А в заключение... сняли претензии, прекрасно понимая, что суд не признает их справедливыми.

Тем временем не дремали и «смежники». Пресса сообщила об очередном скандальном происшествии с АНТом. На этот раз в Венгрии.

Находясь в командировке в Будапеште, представители АНТа по поручению Министерства авиационной промышленности намеревались продать старые авиационные двигатели МИГ-21 и МИГ-23 некоему суданскому бизнесмену Осману Мансуру, а на вырученные деньги закупить для министерства оборудование по выпуску мотокультиваторов.

Сделка уже почти состоялась, осталось совсем немного — получить от бизнесмена деньги. Но он опоздал с платежом и, якобы боясь упустить выгодное дело, принес своим партнерам штраф, оговоренный в контракте. Почему-то наличными, в размере 140 000 долларов. Сотрудников АНТа с этими деньгами неожиданно задержали венгерские власти. Оказывается, бизнесмен перед очередной встречей успел съездить в Москву и заявить советским компетентным органам, что у него вымогают взятку. Те обратились к венгерским коллегам за помощью. Антовцев арестовали.

Началось следствие. Венгерские криминалисты установили, что имела место элементарная провокация, сотрудники АНТа ни в чем не повинны. Пресса между тем смаковала перипетии скандала. Мнения, естественно, разделились. Мне показывали венгерские газеты, где вся эта история называлась «большим надувательством». Там приводились слова руководившего следствием венгерского полковника полиции о том, что советская сторона, пытаясь скомпрометировать своих граждан, представила в виде доказательства их виновности пленки звуко- и видеозаписи, которые были предварительно подвергнуты «манипуляциям» — стиранию некоторых частей текста и монтажу...

Кто направлял сотрудников наших органов? Мне трудно об этом судить, но вот что интересно. Вскоре после скандала в Венгрии «Советская Россия» 29 апреля 1990 года опубликовала интервью Ивана Кузьмича Полозкова, бывшего в то время первым секретарем Краснодарского крайкома КПСС и позже претендентом на пост Председателя Верховного Совета РСФСР. И вот в этом интервью Иван Кузьмич совершенно неожиданно, без логической связи с предыдущим и последующим предложениями, обронил такую фразу: «И вообще не странно ли: буржуазный делец Осман Мансур, попавший в орбиту АНТа, выглядит куда нравственней, порядочнее, честнее, чем иные наши руководители отраслей». Я был удивлен, откуда Иван Кузьмич настолько хорошо знает этого человека, что не побоялся публично вступиться за него? После того, как в августе 1988 года та же «Советская Россия» посвятила три большие статьи разоблачению этого дельца? Какие контакты могли быть между первым секретарем крайкома КПСС и зарубежным бизнесменом определенной репутации?

ПО ТРУДУ ИЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРУДА?

А проверка документации АНТа продолжалась. Бригады проверяющих перетасовывали. Присылали финансовых работников с Украины, из России, из Мосгорфинотдела. Что же они могли обнаружить?

Только то, что сотрудники АНТа дорожили рабочим временем. Например, в подразделении АНТа, проверкой которого руководил я, занимались автоматизацией и компьютеризацией производства. Работники на предприятиях, выпускающих радиодетали и электронные узлы, закупали сверхплановую продукцию для производства узлов и агрегатов компьютеров. Иногда приобретенные детали ломались или оказывались бракованными. Полагалось в этом случае составлять акты. Это выполнялось не всегда. Главная цель проверки в этом случае — не скрывается ли хищение за данным эпизодом? Но воровать радиодетали в подобном случае все равно что у самого себя. Продукции больше, чем записано в договоре, не купят. А не сумеешь его выполнить — плати неустойку.

Казалось бы, элементарно. Однако — так настаивало начальство — пришлось заняться бессмысленной работой, просчитыванием десятков тысяч деталей по маркам. Ну, нашли мы несколько актов, составленных не по форме. А что дальше? Свои обязательства по поставке готовой продукции АНТ-то выполнил. Между прочим, умение не подводить партнеров было вообще отличительным свойством этой организации. До тех пор, пока Госбанку СССР не были даны указания закрыть расчетные счета всех подразделений концерна, а министерствам и ведомствам рекомендовано не иметь больше с ним дела. В свою очередь, Прокуратура СССР направила телеграммы в республики, а также военным и железнодорожным прокурорам взять под особый контроль организации АНТа и «возглавить проверку на местах».

Как и в Москве, карательные органы взялись за дело прежде, чем сказали свое слово экономисты.

Что еще действовало на проверяющих как красная ткань на быка, так это высокие оклады сотрудников АНТа и премии, начисляемые по итогам года. Сколько нервов попортили они тем, кто принял всерьез призывы, несущиеся с высоких трибун: «От каждого по способностям, каждому по результатам труда!»

Результаты были впечатляющими. Совершаемые АНТом сделки приносили большую выгоду государству. В страну начали поступать товары и оборудование по ценам значительно ниже тех, которые обычно платили государственные закупочные внешнеторговые объединения. Не говоря уже о том, что предполагалось платить материалами, нередко десятилетиями мертвым грузом лежащими на складах или под открытым небом. Только один пример: сотни тысяч тонн минеральных удобрений, пропадавших под Новосибирском, были доставлены на пограничную станцию Чоп, и не будь семафора, появившегося в связи со скандалом, могли бы хоть как-то насытить прилавки.

Если исходить из привычной уравнительной психологии, поросших мохом тарифно-квалификационных справочников, из принципов всей системы уравнительной оплаты труда, то антовцы зарабатывали много. Но какой смысл было им надрываться без материальной заинтересованности? Кто может оценить сколько стоят работа мысли, оригинальные идеи, позволившие построить эффективные структуры, приносившие доход, государственному сектору и не снившийся?

Проверяющие уповали на криминал: спекуляцию, взяточничество, подставных лиц. Но к чему соблазны командно-административной системы, если можно заработать, не нарушая законов? Масштабы были солидными, оперировали большими суммами, на руки выдавались для закупок и оплаты труда десятки тысяч рублей. Но все, как и положено, фиксировалось в документах. И если добивались прибыли, то почему, по какому закону, не могли рассчиты-

вать на свою долю в ней? Если каждому — по результатам труда?

Участвуя в проверке АНТа, я увидел, чего может достичь человек, наделенный экономической свободой. Концерн буквально горы сворачивал. Какой здесь можно было применить тариф, какой квалификационный справочник?

Но в то время, как я все больше убеждался в этом, мне стали намекать, что пора, мол, давать обобщающий материал с обвинительным уклоном. Нужно было на что-то решаться.

Могут спросить: а как поступал раньше, в аналогичных ситуациях? Должен сказать, мне давно было ясно, что наша система ведет к бесправию: государство отбирает у человека более восьмидесяти процентов продуктов его труда. Работая в Минпищепроме СССР ведущим ревизором, я сотни раз проверял предприятия, министерства союзных республик. И когда приходилось сталкиваться с нарушениями, всегда старался вникнуть в мотивы, заставившие человека нарушить инструкции. Если видел, что злонамеренности нет, если понимал, что просто отсутствовала у человека возможность поступить иначе, старался помочь, не отдавать под суд. Но, как и все, живущие в режиме всеобщего страха, опасался за свою судьбу и ограничивался всего лишь подобными пассивными формами протеста против Системы. Но то было тогда, а сейчас? Своими руками топить людей, которые хотели помочь державе? Им приходилось тяжко. Пресс государственной машины отравлял жизнь бесконечными допросами, слежкой, преследованиями. Все больше склонялся к мысли, что они — жертвы политической игры кого-то «наверху». Паны дерутся, а у холопов чубы трещат...

ДЕТЕКТИВ С КЛЮЧАМИ

Но я-то не хотел быть игрушкой в руках Системы, с меня хватит. Решил, что выхожу из игры. Последним толчком для такого решения послужила голодовка генерального директора АНТа Петра Шпякина. То, что пытались сделать с ним, можно понять из обращения в инстанции. Оно сохранилось у меня:

«...Восьмого марта 1990 года в 7 часов утра я уехал из квартиры, в которой ныне проживаю,— писал Петр Шпякин.— Дверь я закрыл ключами, находившимися в специальной ключнице... Я вернулся 11 марта 1990 года в 16 часов 45 минут и увидел, что дверь опечатана и висит записка, из которой следовало, что не должен открывать собственную дверь без представителя отделения милиции. Я отправился в отделение, где мне объяснили, что 9 марта соседи вызвали милицию, так как дверь квартиры была открыта и ключи торчали в замке (те самые ключи, которые я оставил в холле квартиры). Милиция закрыла и опечатала дверь, забрала ключи до возвращения хозяев — то есть сделала то, что и должна была сделать в этой ситуации. Затем по непонятным причинам в первой половине дня 11 марта сотрудник отделения милиции вернулся в квартиру и в мое отсутствие вывез оттуда принадлежащее мне имущество, бытовую аппаратуру и документы, как он впоследствии мне объяснил, для сохранности.

11 марта вечером этот сотрудник отделения милиции объяснил, что вещи я могу получить в любой момент, и мы договорились, что я приду за ними в 10 утра 12 марта.

12 марта 1990 года, придя в отделение милиции, я свои вещи и бумаги не получил, так как работники милиции отказались их мне выдать, сославшись на указание Прокуратуры СССР. Однако, когда я позвонил в Прокуратуру, мне сообщили, что Прокуратура такого указания не давала и решение передать вещи в Прокуратуру исходило из отделения милиции.

Так они сваливали друг на друга, по сути дела, пиная мои права ногами, пока, неизвестно на каком основании, мои вещи при мне, ничего не объясняя, не вывез в Прокуратуру СССР один из ее сотрудников, прославившийся оптовыми изъятиями документов из служебных помещений ПГКО «АНТ».

Из квартиры в мое отсутствие пропали диктофон и три новые кассеты к нему. Вещи в квартире переложены с места на место, перерыты коробки, сдвинуты книги, части книг не хватает на полке, где находилась популярная, научно-популярная и экономическая литература. Пропали служебные удостоверения, некоторые личные записи, все документы перемешаны... Налицо следы так называемого неофициального обыска...

Что это за люди, из какой они организации, как они достали ключи от моей квартиры и почему потом оставили дверь открытой?

В отделении милиции я написал заявление, в котором просил выяснить все обстоятельства этого обыска и оградить от оскорбительных вторжений в мою частную жизнь...

...Мне отказали и отказывают выдать мое имущество без всяких на то оснований и документов, что является прямым нарушением конституционных прав на охрану жилища и личной собственности.

...Со мной поступили незаконно трижды: в первый раз — когда незаконно, под предлогом сохранности, изъяли из квартиры, где я проживаю, мои личные вещи и документы; во второй раз — когда эти незаконно изъятые вещи без всяких оснований (ордеров, постановлений и т. д.) незаконно были вывезены в Прокуратуру СССР; и, наконец, в третий раз — когда незаконно изъятые отделением милиции мои личные вещи, незаконно вывезенные в Прокуратуру СССР, незаконно ею удерживаются и в настоящий момент, несмотря на все мои заявления, мне не возвращаются... ПОМОГИТЕ!»

И все же на дворе был 1990 год. Голодовка, объявленная Петром Шпякиным, привлекла общественное внимание. Тем, кто нарушил закон, пришлось идти на попятную: вещи владельцу вернули. Но извинений или хотя бы объяснений на этот счет он не дождался. И по сей день о причинах можно только догадываться. Цель-то подобных актов известна: запугать, сломать волю, сделать человека послушным. Но о каком правовом государстве может тогда идти речь? Меня не покидает ощущение, что аналогичным образом могут поступить с каждым.

ЗАВЕРШИТСЯ ЛИ СЛЕДСТВИЕ

Не так давно солидная центральная газета сообщила, что Свердловским облсоветом дано поручение Уралвагонзаводу срочно искать зарубежных покупателей на выпускаемые танки. И это уже никого не удивляет. Достоянием публики стала борьба между «Разноимпортом» и «Техноэкспортом» за право продажи в США сверхпланового никеля, производимого концерном «Норильский никель». Никто и не заикнулся о «распродаже страны». Общим местом сделались рассуждения публицистов о том, как один партийный работник «наварил» на истории с АНТом завидный политический капитал, а другого журналиста, завоевавшего на разоблачениях «кооперативного спрута» популярность, избрали в народные депутаты.

Аббревиатура АНТ давно превратилась в имя нарицательное, на судьбу концерна обязательно ссылаются аналитики во всем мире, специалисты по советским делам, когда хотят привести пример сопротивления перестройке административно-бюрократической системы.

Но для кого-то это лишь образ, а для тех, кто и поныне, спустя одиннадцать месяцев проверяет АНТ,— повседневное занятие. Да, да, проверка подразделений АНТа продолжается. В ней задействовано более 200 работников Прокуратуры, финансовых органов, КГБ и милиции (при том, что органы надрываются в борьбе с настоящими преступниками). Расходы на оплату труда ревизоров, следователей, дознавателей, на их командировки по стране составили, нетрудно подсчитать, сотни тысяч рублей. Но ни по одному, даже самому малому подразделению АНТа, являвшемуся самостоятельным юридическим лицом, имевшим самостоятельную хозяйственную задачу, и спустя одиннадцать месяцев не передано материалов в суд.

По какому разу различными бригадами исследуются одни и те же документы, людей вызывают на допросы, склоняют подписывать акты, с которыми они не согласны?

Проверяющим можно посочувствовать. С одной стороны — куда денешься: правительственное поручение в силе. А с другой — предъявив обвинение АНТу, нужно то же самое сделать по отношению к десяткам тысяч предприятий, работающих на сходных принципах (единственным утешением для антовцев может послужить сознание того, что их опыт в создании новых производственных структур не пропал зря; инициатива, как заметил один умный человек, у нас всегда была наказуема). Ни у кого из руководителей проверками недостает духу заявить: криминал в деятельности АНТа можно квалифицировать лишь в том случае, если вернуться в март 1985 года... Серьезное судебное разбирательство с участием грамотных судей и адвокатов не найдет в ней состава преступления: за предпринимательство теперь не наказывают.

Об экономических последствиях «танкового скандала» не могу вспомнить спокойно. Еще летом АНТ обратился за разъяснениями к бывшему министру финансов СССР В. С. Павлову — кто будет возмещать убытки? Тогда, насколько мне известно, они составляли 100 миллионов рублей и 30 млн. долларов. Ответа не последовало. Нетрудно представить, что к сегодняшнему дню эти суммы возросли многократно.

А как быть с сорванными контрактами на сотни миллионов долларов? В страну не поступило промтоваров, медицинского оборудования на 35 миллиардов рублей, не были поставлены целые заводы, отдельные технологические линии. Желая как-то спасти положение, Совмин СССР в конце концов издал документ, разрешающий и предписывающий АНТу завершить контракты с иностранными партнерами. Но поздно. Под давлением следственных органов и распоряжений Госбанка СССР структуры АНТа распались. Кто-нибудь ответит за это?

Удручающе пустые полки магазинов каждый день напоминают мне о судьбе бывшего концерна. А тень правительственного поручения все еще витает над ним.

Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА



VERMEIREN

МЕХАНИЧЕСКИЕ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ
ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЕ ПОДУШКИ И МАТРАСЫ
СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ И ФИЗИОТЕРАПИЯ



КРУПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИНВАЛИДНЫХ КРЕСЕЛ-КОЛЯСОК СООБЩАЕТ ОБ ОТКРЫТИИ СКЛАДА В МОСКВЕ



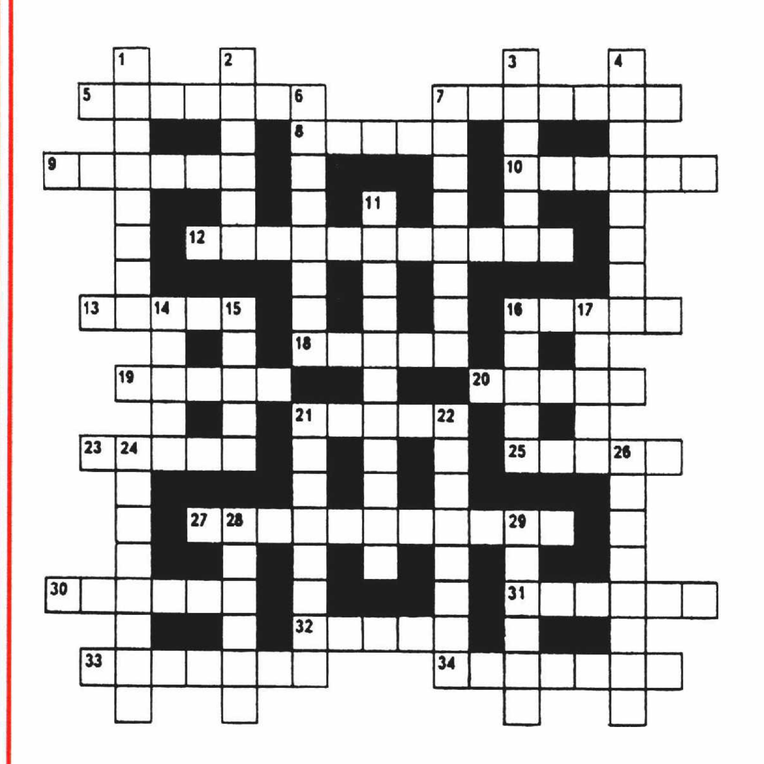
BERSCHADER
INTERNATIONAL

В БЕЛЬГИИ

Av. de la Ferme Rose 14.
Bte 8. 1180 Brussels
телефон: 344-19-05
телефакс: 344-49-22
телекс: 25064 FB4

В СССР

Москва — офис
129366, Москва,
пр-т Мира, 150
офис 2152/2153
тел. 215-31-68



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рассказ А. П. Чехова. 7. Работница текстильной промышленности. 8. Единица магнитной индукции. 9. Название серии советских космических кораблей. 10. Река в Забайкалье. 12. Навигационный прибор для удержания корабля на заданном курсе. 13. Приток Камы. 16. Верхний слой земли. 18. Русский струнный инструмент. 19. Женское украшение. 20. Животное рода лошадей, обитающее в саваннах Африки. 21. Геометрическое тело. 23. Обширное водное пространство между материками. 25. Народная писательница Латвии. 27. Объединение людей, реализующих определенную программу, цель. 30. Каменное дерево. 31. Места для зрителей в театре. 32. Режиссер, народный артист СССР, снимавшийся в фильмах. 33. Положение, принимаемое без доказательства. 34. Спортсмен, тяжелоатлет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Денежная или натуральная помощь. 2. Маршал Советского Союза. 3. Временное цирковое помещение. 4. Актер и режиссер, народный артист СССР. 6. Судно с ядерной силовой установкой. 7. Твердая, дозированная форма лекарства. 11. Точка высшего подъема развития. 14. Поездка артистов на гастроли. 15. Курорт в Бурятии. 16. Машина для обработки материалов давлением. 17. Мелкая речная утка. 21. Действующее лицо в пьесе А. Н. Островского «Гроза». 22. Порт на Яве в Индонезии. 24. Договор, соглашение. 26. Выведение новых сортов растений, пород животных. 28. Стебель растения в начале развития. 29. Тропическая пряная и лекарственная культура.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Достоевский. 9. «Арсенал». 10. Ишимбай. 11. Энцелад. 14. Конда. 15. Кокос. 17. Розов. 18. Мерчисон. 19. Шахматов. 21. Нетто. 22. Торос. 23. Груша. 24. Корсика. 29. Устрица. 30. Рутений. 31. Горихвостка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Волна. 2. Эталон. 3. Истина. 4. Лимит. 6. Еременко. 7. Краснoперекопск. 8. Шарикоподшипник. 12. Баритон. 13. Фрамуга. 15. Клодт. 16. Сеанс. 20. Брусилов. 25. Опарин. 26. Карась. 27. Пилон. 28. Этика.

УНИКАЛЬНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНО СПРОЕКТИРОВАННЫЙ ДЛЯ РОССИИ

«КОМПАН ЕП, ЛП»

ПРЕДЕЛЬНО РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР.



Производительность, полная совместимость и большая емкость памяти.

Надежный «КОМПАН» продается как за рубли, так и за валюту.

Фирма КОМПАН. СССР. 198092. Ленинград, ул. Маршала Говорова, 52.
Тел.: 252-17-73 186-08-76, 186-55-11
Телекс: 121412
Телефакс: 2524184

Скорость «КОМПАН» не уступает серии 386 SX.
«КОМПАН» прошел тестирование в США и признан полностью совместимым.

1 руб. Индекс 70663